

ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ



1984

*... alle die ... sagen voll kein Plan  
... fünf 8 ... man dort  
... alle ... man dort  
... 50 mal ... kommen  
... fünf ... sein  
... fünf ... sein  
... fünf ... sein*



George Orwell

**1984**

«АРДИС»

1949

## **Orwell G.**

1984 / G. Orwell — «АРДИС», 1949

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию главное произведение британского писателя Джорджа Оруэлла – роман-антиутопию «1984». В нём описано будущее, в котором людей контролируют с помощью слежки и пропаганды, а технологии существуют только как инструмент этого контроля; это история Уинстона Смита и его деградации под влиянием тоталитарного государства, в котором он живет.

© Orwell G., 1949

© АРДИС, 1949

# Содержание

Часть первая	5
Глава 1	5
Глава 2	15
Глава 3	20
Глава 4	25
Глава 5	31
Глава 6	39
Глава 7	42
Конец ознакомительного фрагмента.	45

# Джордж Оруэлл

## 1984

### Часть первая

#### Глава 1

Был холодный и ясный апрельский день. Часы били тринадцать. Уинстон Смит, прижав подбородок к груди в попытке спрятаться от противного ветра, быстро проскользнул через стеклянную дверь в жилой комплекс «Победа». Проскользнул, впрочем, недостаточно быстро, а потому впустил за собой вихрь смешанной с песком пыли.

В коридоре пахло варёной капустой и половиками. В конце коридора прямо к стене был прикреплён цветной плакат, великоватый для вывешивания внутри помещения. Изображено на нём было всего лишь огромное лицо, более метра в ширину – лицо мужчины лет сорока пяти, с большими чёрными усами и грубовато-правильными чертами лица. Уинстон направился к лестнице. Попытаться вызвать лифт бесполезно. Лифт редко работал даже в лучшие времена; чего уж ждать теперь, когда в дневные часы отключается электричество. Это часть программы экономии в преддверии Недели Ненависти. До квартиры нужно было преодолеть подъём в семь лестничных пролётов, и Уинстон, в свои тридцать девять лет, с варикозной язвой над щиколоткой на правой ноге, шёл медленно, несколько раз отдыхая за время пути. На каждой лестничной площадке напротив шахты лифта на тебя смотрел плакат с огромным лицом. БОЛЬШОЙ БРАТ СМОТРИТ НА ТЕБЯ, гласила подпись внизу. В квартире сладкий голос зачитывал последовательность цифр, имеющих какое-то отношение к производству чугуна. Голос исходил из продолговатого металлического диска, напоминающего замутнённое зеркало, которое занимало часть стены справа. Уинстон повернул выключатель, и голос зазвучал немного приглушеннее, хотя слова всё же были отчётливо слышны. Это устройство (а называлось оно телеэкран) можно было приглушить, но способа выключить его совсем не существовало. Уинстон передвинулся к окну: невысокая, щуплая фигурка, незначительность которой подчеркивал синий комбинезон – форма членов партии. У него были очень светлые волосы, лицо природного сангвиника, кожа, загрубевшая от жёсткого мыла, тупых бритвенных лезвий и только что закончившейся холодной зимы.

Даже через закрытое окно мир снаружи казался холодным. Внизу на улице порывы ветра закручивали в водовороты пыль и разрывали на спиральки бумагу, и хоть солнце и светило, хоть небо и было сурово-синим, красок, казалось, не было ни в чём, за исключением расклеенных повсюду плакатов. Лицо черноусого пристально вглядывалось в тебя из каждого приметного закоулка. Одно из этих лиц было на фасаде дома напротив. БОЛЬШОЙ БРАТ СМОТРИТ НА ТЕБЯ, гласила подпись, а чёрные глаза заглядывали прямо в глаза Уинстона, в самую глубину. Ниже, прямо на уровне улицы, ещё один плакат судорожно хлопал на ветру; он то закрывал, то раскрывал одно единственное слово: АНГЛОСОЦ. Вдалеке между крыш заскользил вниз вертолёт, он сделал петлю и снова улетел. Это полицейский патруль шпионит, заглядывая людям в окна. Хотя патруль не играет роли. Играет роль только Полиция Мысли.

За спиной Уинстона голос из телеэкрана всё ещё бубнил о чугуне и перевыполнении девятого трёхлетнего плана. Телеэкран был одновременно и приёмником, и передатчиком. Любой звук, чуть громче тихого шёпота, изданный Уинстоном, улавливался телеэкраном. Более того, когда Уинстон находился в подвластном этому металлическому диску поле обзора, телеэкран его и видел, и слышал. Конечно же, узнать, следят за тобой или нет в каждый конкретный

момент было невозможно. Как часто или по какой системе Полиция Мысли подключалась к каждому индивидуальному передатчику можно было только догадываться. Нельзя было исключить даже вероятность того, что они всё время следили за всеми. Как бы там ни было, они могли переключиться на тебя, стоило им только захотеть. Ты вынужден был жить (да именно так ты и жил) по превратившейся в инстинкт привычке, предполагая, что каждый издаваемый тобой звук – прослушивается, а каждое твоё движение, если только ты не в темноте, – досконально изучается.

Уинстон держался спиной к телеэкрану. Так безопаснее. Хотя он прекрасно понимал, что даже спина может тебя выдавать. В километре от него, белое и громадное на грязном пейзаже, высилось Министерство Правды – место его работы. Вот тебе, – подумал он с неким смутным отвращением, – вот тебе и Лондон, главный город Взлётно-посадочной полосы Номер Один, представляющий собой третью из самых густонаселённых провинций Океании. Он попытался выдать из себя какие-нибудь детские воспоминания, чтобы те подсказали ему, всегда ли Лондон был таким. Всегда ли был такой вид у этих обветшавших домов девятнадцатого века с подерживающими их по бокам деревянными срубами, с забитыми фанерой окнами и крышами из проржавевшего железа, с этими их безумными садовыми ограждениями, покосившимися в разные стороны? И места бомбёжек, где в воздухе клубится пыль от штукатурки, и кипрей разрастается над грудями камней; а ещё места, где бомбами «расчищены» участки побольше, на которых вылезли убогие колонии напоминающих курятники деревянных жилищ? Но всё было бесполезно: он не мог вспомнить. Из его детства не осталось ничего, кроме череды залитых ярким светом живописных картин, возникавших непонятно откуда и по большей части неразборчивых.

Министерство Правды поразительно отличалось от всех видимых отсюда объектов. На Новоязе, официальном языке Океании (пояснения относительно структуры и этимологии Новояза вы найдёте в приложении), оно называлось Минправ. Это была огромная пирамидальная структура из сверкающего белого бетона, воспарившая, терраса за террасой, на 30 метров в воздухе. С того места, где стоял Уинстон, можно было прочесть выделяющуюся на белом фасаде элегантную надпись – три лозунга Партии:

ВОЙНА – ЭТО МИР  
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО  
НЕЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА

В Министерстве Правды было, как говорили, три тысячи комнат выше первого этажа и соответствующие разветвления – ниже первого. В разных местах Лондона существовало ещё три здания подобного вида и размера. Они полностью подавляли окружающую архитектуру так, что с крыши Здания Победы можно было разглядеть одновременно все четыре здания. Это были дома министерств, по которым распределялся весь правительственный аппарат. Министерство Правды занималось новостями, развлечениями, образованием и изящными искусствами. Министерство Мира занималось войной. Министерство Любви поддерживало закон и порядок. И Министерство Изобилия несло ответственность за дела экономики. Их названия на Новоязе были следующими: Минправ, Минмир, Минлюб и Минизоб.

Особенно страшным было Министерство Любви. В нём совсем не было окон. Уинстон никогда не был ни в самом Министерстве Любви, ни в полукилометре от него. Это было такое место, куда возможно войти только по официальному делу, и притом нужно было проникнуть через лабиринт заграждений из колючей проволоки, стальных дверей и замаскированных пулеметных гнёзд. Даже по ведущим к внешним заграждениям улицам бродили охранники с бандитскими лицами в чёрной униформе, вооружённые сочленёнными дубинками.

Уинстон резко обернулся. Придал своим чертам выражение спокойного оптимизма, которое рекомендовано было иметь на лице, находясь перед телеэкраном. Он прошёл через комнату

и вошёл в крошечную кухню. Покинув Министерство днём, он пожертвовал своим ланчем в буфете, хотя и знал, что на кухне есть нечего, кроме куска хлеба тёмного цвета, который нужно было сохранить на завтрашний завтрак. Он достал с полки бутылку с бесцветной жидкостью, на которой простая белая этикетка гласила: «ДЖИН ПОБЕДА». Джин издавал тошнотворный маслянистый запах, как китайский рисовый спирт. Уинстон налил себе почти полную чашку, нервно подергался и выпил всё залпом, как пьют лекарство. В ту же секунду его лицо побархотало, а из глаз побежали слёзы. Выпитое походило на азотную кислоту, а кроме того, у проглотившего его возникало ощущение, будто его ударили сзади по голове резиновой дубинкой. Однако в следующую секунду жжение в желудке утихло, и мир стал казаться веселее. Он достал сигарету из помятой пачки с маркировкой «СИГАРЕТЫ ПОБЕДА» и непредусмотрительно перевернул её в вертикальное положение, из-за чего табак высыпался на пол. Со следующей сигаретой он обращался с большим успехом. Вернувшись в гостиную, он сел за маленький столик, стоявший слева от телеэкрана, вытащил из ящика стола перьевую ручку, бутылочку чернил и толстую книгу для записей с красным корешком и переплётом под мрамор.

По некоторой причине расположение телеэкрана в гостиной было необычным. Вместо стены в конце комнаты, как это делалось по правилам для того, чтобы обозревать всю комнату, телеэкран был размещён в более длинной стене, напротив окна. С одной стороны от него оставался пустой альков, в котором Уинстон сейчас и сидел, и в котором, по-видимому, во время строительства дома предполагалось разместить книжные полки. Сидя в алькове и отклонившись назад как можно дальше, Уинстон оказывался вне зоны обзора телеэкрана, вне досягаемости его взгляда. Конечно, Уинстона могли слышать, но пока он оставался в теперешнем положении, видеть его не могли. Это была отчасти необычная планировка комнаты, но именно благодаря ей он мог делать то, что намеревался делать сейчас.

Дело в том, что книга, которую он только что достал из ящика, требовала именно такого положения. Книга была изумительно красивой. Её гладкая кремовая бумага, немного пожелтевшая от времени, была такого качества, какую не производили, по меньшей мере, последние лет сорок. Однако можно было догадаться, что книга ещё старше. Он увидел её на витрине захудалой маленькой лавки старьевщика где-то в районе трущоб (в каком именно квартале, он сейчас не помнил), и неодолимое желание обладать ею сразу и полностью им завладело. Считается, что члены Партии не должны ходить в обычные магазины («связываться со свободным рынком» – так это называлось), но это правило не всегда жестко соблюдалось, так как было много таких вещей, типа шнурков или бритвенных лезвий, которые достать каким-либо другим способом просто невозможно. Уинстон быстрым взглядом окинул улицу, проскользнул внутрь лавки и купил эту книгу за два доллара пятьдесят. В тот момент он не осознавал, что хочет купить её ради какой-то конкретной цели. Он виновато нёс её домой в портфеле. Уже сам факт обладания книгой был компрометирующим, хотя там ничего и не было написано.

Сейчас он собирался сделать одну вещь – начать писать дневник. Это не было нелегальным (ничего нелегального просто не существовало, ибо законов больше не было), но, если бы это обнаружилось, то, вполне определённо, каралось бы смертью или, по крайней мере, двадцатью пятью годами заключения в принудительно-трудовом лагере. Уинстон вставил перо в ручку и пососал его, чтобы удалить грязь. Ручка была архаичным инструментом, редко используемым даже для подписей, и он ещё раньше купил её украдкой, с определёнными трудностями, просто из-за ощущения, что кремовая бумага заслуживает того, чтобы на ней писали настоящим пером, а не скребли её чернильным карандашом. В общем-то он не привык писать от руки. Если не считать коротеньких записочек, обычно он всё надиктовывал речеписчику, что, конечно же, было невозможно для настоящего случая. Он окунул ручку в чернила, а потом замялся, всего лишь на секунду. Внутри у него что-то дрогнуло. Чтобы сделать отметку на этой бумаге, нужна была решимость. Маленькими, корявыми буквами он написал:

4 апреля 1984

Уинстон откинулся назад. Им овладело чувство абсолютной беспомощности. Начать с того, что он не знал наверняка, был ли сейчас 1984. Должно быть, что-то около этой даты, потому что он почти уверен, что сейчас ему тридцать девять лет, и он знал, что родился в 1944 или 1945. Но в теперешнее время было абсолютно невозможно определиться ни с какой датой без погрешности в год или два.

А для кого, вдруг пришло ему в голову, пишет он этот дневник? Для будущего, для ещё не родившихся? Его мысли какое-то время крутились вокруг сомнительной даты, написанной на странице, и неожиданно споткнулось о выхваченное слово новояза ДВОЕМЫСЛИЕ. Впервые до него дошла важность осуществляемого им дела. Как можешь ты выйти на контакт с будущим? По самой его природе это невозможно. Будущее либо будет напоминать настоящее, а в таком случае никто его не слушает, либо будет отличаться от него, и тогда всё описанное им не будет иметь значения.

Какое-то время он сидел, тупо глядя на бумагу. Телеэкран переключился на пронзительную военную музыку. Удивительно, как это он не просто не утратил еще стремление к самовыражению, но даже не забыл, что он изначально намеревался высказать. Несколько недель он готовился к этому моменту, и ему никогда не приходило в голову, что единственное, что ему потребуется, это мужество. Сам процесс письма пойдёт легко. Всё, что понадобится ему сделать, это перенести на бумагу тот непрерывный, неустанный монолог, который постоянно звучит у него в голове буквально годами. Но в данный момент даже этот монолог застыл. Более того, варикозная язва на ноге невыносимо зачесалась. Он не решался её почесать, потому что каждый раз, когда он это делает, она воспаляется. Бежали секунды. Он осознавал лишь одно: перед ним пустая страница, у него чешется нога над лодыжкой, ревет музыка, джин слегка ударил в голову.

Внезапно он пустился писать в состоянии явной паники, лишь смутно осознавая, что он пишет. Из-за мелкого, но всё-таки детского почерка, предложения скакали вниз-вверх по странице, теряя сначала заглавные буквы, а потом и точки.

4-е апреля 1984. Последняя ночь кинотеатров. Все фильмы – военные. Один очень хороший. Про один корабль полный беженцев, который разбомбили где-то в Средиземном море. Аудитории больше всего понравилось, как стреляют в огромного толстого мужчину, который пытается уплыть от преследующего его вертолёт. сначала ты видишь, как он барахтается в воде, как морская свинья, потом видишь его через прицелы вертолётов, а затем всего продырявленного, и как море вокруг него становится розовым, и он тонет так внезапно, будто вода залилась во все дырки. Когда он тонет, аудитория заливается смехом; потом ты видишь полную детей спасательную шлюпку, и как над ней кружит вертолёт; там на носу сидит женщина средних лет, должно быть, еврейка, с маленьким мальчиком, лет трёх, на руках; мальчик визжит от страха и прячет голову у неё на груди, будто хочет укрыться прямо внутри, а женщина обхватила его руками и успокаивает, хотя сама она посинела от страха, и всё время обхватывает его руками, как можно крепче, как будто думает, что руки её смогут уберечь его от пули; затем вертолёт всаживает в них 20-килограммовую бомбу, потрясающая вспышка и шлюпка разлетается в щепки, потом замечательные кадры с детской рукой, она летит в воздухе всё выше и выше, а камера, должно быть, на носу вертолёта, следует за ней, и очень много аплодисментов с мест, где сидят партийцы, но женщина снизу, из той части, где сидят пролетарии, внезапно поднимает шум и начинает кричать что не должны выставлять всё такое, особо детям, что

неправильно это, показывать это детям, пока полиция не разворачивает её и не выпроваживает, я не думаю, что с ней что-то случилось, никого не волнует, что говорят пролетарии, типичная реакцию пролетариев, они никогда...

Уинстон перестал писать, в некоторой степени из-за судороги. Он не знал, что заставило его выплеснуть весь этот поток грязи. Но любопытным оказалось, что, пока он это делал, абсолютно другое воспоминание прояснилось в его сознании, прояснилось до такой степени, что он почувствовал, что готов писать. Теперь он понял: именно из-за этого инцидента он сегодня решил пойти домой и начать писать дневник.

Произошло это утром в Министерстве, если про нечто столь неопределённое вообще можно сказать, что это произошло.

Было около одиннадцати ноль-ноль, и в Департаменте Документации, где работал Уинстон, вытаскивали стулья из кабинок и расставляли их в центре зала напротив большого телеэкрана – подготовка к Двухминутке Ненависти. Уинстон как раз занимал своё место на одном из средних рядов, когда двое человек, лица которых были ему знакомы, но с которыми он ни разу не разговаривал, неожиданно вошли в помещение. Одним из них была девушка, которую он часто встречал в коридорах. Её имени он не знал, зато знал, что работает она в Департаменте Беллетристики. По всей вероятности – поскольку он несколько раз встречал её с вымазанными маслом руками и с гаечным ключом, – она выполняла какую-то механическую работу на одной из пишущих романы машин. Это была девушка бойкого вида, лет двадцати семи, с густыми волосами, веснушчатым лицом и быстрыми спортивными движениями. Узкий алый пояс, эмблема Молодёжной антисексуальной лиги, несколько раз был туго обмотан вокруг её талии поверх комбинезона, подчёркивая формы бёдер. Уинстон невзлюбил её с первой же минуты, как только увидел. Причину он знал. Всё из-за атмосферы, которой ей удавалось себя окружать: атмосферы хоккейных полей, холодных ванн, групповых походов пешком и общей незамутнённости сознания. Он недолюбливал почти всех женщин, а в особенности молодых и симпатичных. Самыми фанатичными приверженцами партии всегда были женщины, и по большей части – молодые. Напичканные лозунгами, любительницы пошпионить и вынюхивающие неортодоксальность. А эта девушка, в особенности, производила на него впечатление наиболее опасной. Однажды, проходя мимо него по коридору, она бросила на него сбоку быстрый взгляд, которым, казалось, пронзила его насквозь. На миг его охватил мрачный ужас. В голове мелькнула мысль, что она может быть агентом Полиции Мысли. Конечно же, это было весьма маловероятно. И всё же, стоило ей только появиться поблизости, он продолжал испытывать некоторую неловкость, к которой примешивалась ещё и жестокость.

Другим человеком был мужчина по имени О'Брайен, член Внутренней Партии, занимавший столь важный высокий пост, что о роде его деятельности Уинстон имел весьма смутное представление. При виде приближающегося чёрного комбинезона члена Внутренней Партии группа людей у стульев на некоторое время притихла. О'Брайен был большим крепким мужчиной с толстой шеей и грубым насмешливым лицом с крупными чертами. Несмотря на грозную внешность, в его манерах был определённый шарм. Поправляя очки на носу, он проделывал некоторым необъяснимым образом такой трюк, который вас обезоруживал своим удивительным благородством. Это был жест, который (если кто-либо еще мыслит в такой терминологии) мог бы напомнить аристократа восемнадцатого века, предлагающего вам свою табакерку. Уинстон встречал О'Брайена, возможно, с дюжину раз, почти за такое же количество лет. Он чувствовал, что его очень тянет к этому человеку, и вовсе не по той причине, что он был заинтригован контрастом между благородными манерами О'Брайена и его борцовским телосложением. Гораздо в большей степени это было из-за тайной веры – а может, и не веры, а всего лишь надежды, – что политическая ортодоксальность О'Брайена была не столь уж совершенной. Что-то в его лице неотвратимо наводило на такое предположение. И, опять-таки, возможно, на лице его написана была вовсе не антиортодоксальность, а простая интеллигентность.

Но в любом случае, у него была внешность человека, с которым ты мог бы поговорить, если б тебе удалось обмануть телеэкран и остаться с ним наедине. Уинстон никогда не прилагал ни малейшего усилия, чтобы проверить свою догадку, хотя, честно говоря, и сделать это ему не представлялось возможности. В данный момент О'Брайен взглянул на часы на руке, увидел, что почти одиннадцать ноль-ноль и, очевидно, решил до окончания Двухминутки Ненависти остаться в Департаменте Документации. Он занял место в том же ряду, что и Уинстон, через место от него. Маленькая женщина с песочного цвета волосами, которая работала в соседней с Уинстоном кабинке, оказалась между ними. Девушка с тёмными волосами сидела непосредственно за ним.

Ещё минута, и телеэкран в конце комнаты разразился ужасной, скрежещущей речью, похожей на грохот чудовищной машины без смазки. От такого грохота начинают скрежетать зубами, а волосы на затылке встают дыбом. Ненависть началась.

Как обычно, на экране вспыхнуло лицо Эммануэля Голдстейна, Врага Народа. Среди аудитории, в разных местах, раздался свист. Женщина с волосами песочного цвета издала писк, в котором смешались страх и отвращение. Голдстейн был ренегатом и отступником, который однажды, когда-то давно (как давно, никто уже не помнил) был одной из ведущих фигур в Партии, почти на одном уровне с самим Большим Братом, а потом занялся контрреволюционной деятельностью, был приговорён к смерти, но загадочным образом сбежал и исчез. Программа Двухминутки Ненависти изо дня на день варьировалась, однако не было ни одной, в которой Голдстейн не был бы ключевой фигурой. Он был главный предатель, первейший осквернитель чистоты Партии. Все последующие антипартийные преступления, все предательства, акты саботажа, ереси, отступления от курса проистекали непосредственно из его учения. Непонятно где, но каким-то образом он всё ещё был жив и вынашивал свои заговоры – возможно, где-то за морем, под протекцией проплачивающих его иностранных хозяев, а возможно даже (ходили иногда такие слухи) в каком-то тайном месте в самой Океании.

У Уинстона всё внутри сжалось. Он никогда не мог смотреть на лицо Голдстейна без болезненной смеси эмоций. Перед ним было худощавое еврейское лицо в ореоле спутанных седых волос с маленькой заострённой бородкой. Умное лицо, и всё же, по сути своей, жалкое, с какой-то стариковской глупостью, скрывающейся за этим длинным тонким носом и водруженными на него очками. Что-то в нём напоминало овцу, и голос тоже имел какой-то овечий оттенок. Голдстейн предпринимал свою очередную злостную атаку на партийные доктрины – атаку столь раздутую и извращённую, что и ребёнок способен бы был понять, что за ней стоит. И всё же атака эта была достаточно убедительной, чтобы наполнить тебя таким тревожным чувством, что есть же ведь другие люди, более низкого уровня, чем ты, которые могут не устоять. Он оскорблял Большого Брата, осуждал диктатуру Партии, он требовал немедленного заключения мира с Евразией, он защищал свободу слова, свободу прессы, свободу собраний, свободу мысли, он истерично кричал, что революцию предали... а речь его была быстрой и многосложной, похожей на пародию привычного стиля партийных ораторов, и в ней даже встречались слова Новояза, в действительности даже больше слов Новояза, чем мог обычно использовать обычный член Партии в реальной жизни. И всё это время, дабы не было никаких сомнений относительно той реальности, которая стояла за обманчивой болтовнёй Голдстейна, над его головой на телеэкране маршировали бесконечные колонны армии Евразии – ряд за рядом несгибаемого вида мужчины с ничего не выражающими азиатскими лицами; они выплывали на экран и исчезали, и тут же заменялись другими, в точности им подобными. Унылый ритмичный топот солдатских сапог составлял фон, над которым возвышался блеющий голос Голдстейна.

Время Ненависти не перевалило ещё за тридцать секунд, когда половина людей в комнате начала выплёскивать неконтролируемые гневные восклицания. Самодовольное овцеоб-

разное лицо на экране и пугающая мощь евразийской армии за ним – это уж слишком: люди не могли этого вынести. Кроме того, сам вид Голдстейна и даже мысль о нём автоматически вызывали страх и гнев. Он был даже более постоянным объектом для ненависти, чем Евразия или Истазия, с тех пор как Океания оказывалась в состоянии войны с одной из этих Держав (воюя с одной, она обычно находилась с другой в состоянии мира). Но особенно странным было то, что, хотя Голдстейн был всеми ненавидим и презираем, хотя каждый день, по тысяче раз на день, на платформах, на телеэкранах, в газетах и книгах его теории опровергались, разбивались, высмеивались, принимались, по общему мнению, за жалкую чушь, – несмотря на всё это, его влияние, похоже, никогда не уменьшалось. Всегда появлялись новые простофили, только и ждавшие, чтобы поддаться их соблазну. Не проходило и дня, чтобы Полиция Мысли не разоблачила его замаскированных шпионов и саботажников. Он был командиром огромной теневой армии, подпольной сети конспираторов, посвятивших себя свержению Государственного строя. Братство, поговаривали, будто так они назывались. Ходили также передававшиеся шёпотом истории об ужасной книге, краткому сборнику всей ереси, автором которой был Голдстейн, и которая тайно появлялась то там, то здесь. Люди ссылались на неё – если вообще ссылались – просто как на ЭТУ КНИГУ. Но знали они о ней только понаслышке. Ни Братство, ни ЭТА КНИГА не были вещами, которые рядовой член Партии стал бы упоминать, будь у него способ избежать такого упоминания.

На второй минуте Ненависть перешла в неистовство. Люди подпрыгивали на местах; в попытке заглушить доводящий их до безумия блеющий голос с экрана, они кричали на пределе возможностей. Маленькая женщина с песочного цвета волосами стала ярко-розовой, а её рот открывался и закрывался, как у выброшенной на сушу рыбы. Зарделось даже мощное лицо О’Брайена. Он сидел на стуле очень прямо, его мощная грудь вздымалась и вибрировала, будто он принял стойку, чтобы выдержать натиск волны. Темноволосая девушка за Уинстоном начала кричать: «Свинья! Свинья! Свинья!» и, неожиданно подняв тяжёлый словарь Новояза, запустила его в экран. Он ударился в нос Голдстейна и отскочил; голос неумолимо продолжал. В миг просветления Уинстон обнаружил, что кричит вместе со всеми и неистово лупит каблуком по перекладине своего стула. Самое ужасное в этой Двухминутке Ненависти было не то, что ты обязан принимать в ней участие, а, наоборот, то, что невозможно остаться неввлечённым. Через тридцать секунд в притворстве отпадала необходимость. Сильнейший экстаз от страха и мстительности, желание убивать, пытаться, разбивать лица кувалдой, казалось, проходил через всю группу собравшихся как электрический шок, превращая каждого, против его воли, в орущего сумасшедшего с искажённым лицом. И при этом охвативший каждого гнев был абстрактной, нецеленаправленной эмоцией, а потому его можно было переключить с одного объекта на другой, как пламя в паяльной лампе. При этом был момент, когда ненависть Уинстона разгорелась не против Голдстейна, а совсем наоборот, против Большого Брата, против Полиции Мысли, а в такие моменты, как этот, он всем сердцем устремлялся к одинокому, обсмеянному еретику на экране, единственному из всех, кто стоит на страже правды и здравого смысла в мире лжи. Но уже в следующий момент он был заодно с окружающими его людьми, и всё, что говорили о Голдстейне, казалось ему правдой. В такие моменты его тайная ненависть к Большому Брату менялась на преклонение, и Большой Брат, казалось, возвышался, становясь непобедимым, бесстрашным защитником, который стоит как скала против орд азиатов. И тогда Голдстейн, несмотря на его оторванность от всех, на его беспомощность, на сомнительность факта его существования в целом, – казался зловещим заклинателем, способным одной только силой своего голоса разрушить саму структуру цивилизации.

Бывали моменты, когда становилось невозможным перенаправить по собственному желанию свою ненависть в другое русло. Неожиданно Уинстон, приложив большое усилие, – сродни тому, с которым отрываешь голову от подушки, избавляясь от ночного кошмара, – преуспел в переключении своей ненависти с лица на экране на сидевшую сзади него темноволосую

девушку. Живые, прекрасные галлюцинации пронесли в его воображении. Он забивает её насмерть резиновой дубинкой. Он привязывает её голой к столбу и обстреливает её стрелами, как Святого Себастьяна. Он насиует её, и в момент оргазма перерезает ей горло. Более того, сейчас он лучше, чем ранее, понял, ПОЧЕМУ он так её ненавидел. Он ненавидел её, потому что она молодая, миловидная и лишённая сексуальности, потому что он хочет переспать с ней, но никогда этого не сделает, потому что вокруг её сладкой гибкой талии, которая, казалось бы, так и просится, чтобы её обвили твои руки, обёрнут этот одиозный алый пояс, агрессивный символ непорочности.

Ненависть достигла апогея. Голос Голдстейна превратился в самое нестоящее бляение овцы, и на какую-то секунду вместо лица его появилась овечья морда. Затем лицо-морда растаяло и превратилось в евразийского солдата, огромного и ужасного, который, казалось, двигался вперед со своим ревущим пулемётом и, казалось, вот-вот выпрыгнет за поверхность экрана, так что некоторые люди в первом ряду подались назад на своих местах. Но в тот же самый момент, вызвав вздох облегчения у каждого, вражеская фигура растаяла, уступив место лицу Большого Брата, черноволосому и черноусому, полному силы и таинственного спокойствия, лицу такому огромному, что оно заполнило почти весь экран. Никто не слышал, что Большой Брат говорил. То были всего лишь несколько ободряющих слов, которые произносят при грохоте боя, слов, самих по себе неразборчивых, но восстанавливающих уверенность просто тем фактом, что они произнесены. Потом лицо Большого Брата постепенно растаяло, и на смену ему встали три лозунга Партии, выведенные большими отчётливыми буквами:

ВОЙНА – ЭТО МИР  
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО  
НЕЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА

Однако казалось, что лицо Большого Брата ещё несколько секунд присутствовало на экране, как будто влияние его образа на глаза людей было слишком сильным, чтобы сразу же пропасть. Маленькая женщина с волосами песочного цвета бросилась вперёд на спинку стоящего перед ней стула. С дрожью в голосе она бормотала что-то типа «Мой Спаситель!» и тянула руки к экрану. Потом она закрыла лицо руками. Было ясно, что она читает молитву.

В этот момент вся группа пустились в ритмичное пение, низкое и медленное, в котором «Б-Б!.. Б-Б!» повторялось снова и снова, потом очень медленно, с длинными паузами между первым «Б» и вторым... Тяжёлые звуки, бормотание, какое-то на удивление дикарское пение, на заднем плане которого, казалось, слышен был топот босых ног и бой тамтамов. Они продолжали в том же духе ещё секунд тридцать. Во время припева часто ощущался особый эмоциональный подъём. Отчасти это был гимн мудрости и величию Большого Брата, однако в большей степени это был акт самогипноза, намеренный уход в бессознательное состояние с помощью ритмического шума. Уинстону казалось, что всё внутри у него замерзло. Во время Двухминутки Ненависти невозможно не разделить общего сумасшествия, но это нечеловеческое повторение «Б-Б!.. Б-Б!» всегда приводило его в ужас. Конечно, он пел вместе со всеми – невозможно было этого не делать. Скрывать свои чувства, контролировать лицо, делать то, что делают остальные – такова была инстинктивная реакция. Но был какой-то промежуток, длиной в две секунды, во время которого его глаза могли его выдать. И было это точно в тот самый момент, когда произошла эта важная вещь... если она, и в самом деле, произошла.

На мгновение он поймал взгляд О'Брайена. Перед этим О'Брайен встал. Он снял очки, и как раз поправлял их на носу этим своим характерным жестом. И была какая-то доля секунды, когда их глаза встретились, и пока этот момент длился, Уинстон знал... да, он ЗНАЛ!.. что О'Брайен думает то же самое, что и он сам. Послание, которое невозможно было понять неправильно, было передано и получено. Как будто два их сознания открылись, и мысли перетекли

из одного в другое через взгляд. «Я с тобой, – казалось, говорил ему О’Брайен. – Я точно знаю, что ты чувствуешь. Я знаю всё о твоём презрении, о твоей ненависти, о твоём отвращении. Но не беспокойся, я на твоей стороне!» А затем эта вспышка интеллекта исчезла, и лицо О’Брайена стало таким же непроницаемым, как и у всех остальных.

Вот и всё. Да он уже не был уверен, произошло ли это на самом деле. Из таких инцидентов никогда ничего не вытекало. Результатом их действия было лишь то, что ему удавалось сохранять веру, или надежду, что были враги Партии ещё и кроме него. В конце концов, не исключено, что слухи о подпольных конспираторах не лишены оснований, не исключено, что Братство существует на самом деле! И при всех этих бесконечных арестах, признаниях, казнях, невозможно было до конца поверить, что Братство – всего лишь миф. Были дни, когда он в него верил, были – когда нет. Не было никаких свидетельств, только мимолётные проблески, которые могли ничего и не значить: обрывки услышанных разговоров, едва различимые надписи на стенах в туалете... Иногда, даже, когда встречались два незнакомых человека, незначительное движение руки, которое выглядело как условный знак. Всё это были только предположения – вполне вероятно, что он всё это придумал. Он отправился в свою кабинку, больше не взглянув на О’Брайена. Идея предпринять какие-либо последующие действия после этого краткого контакта едва ли могла прийти ему в голову. Было бы невероятно опасным, если бы он даже знал, как именно можно что-либо предпринять. Секунду или две они обменивались двусмысленными взглядами, и на этом история заканчивалась. Но даже этот обмен взглядами стал памятным событием в том безысходном одиночестве, где ты вынужден жить.

Уинстон очнулся и сел прямее. Он отрыгнул. Джин поднимался вверх из желудка.

Глаза его вновь сфокусировались на странице. Он обнаружил, что даже сидя и беспомощно размышляя, он продолжал писать, как будто совершая чисто механическое действие. И теперь это был уже не тот прежний неразборчивый, неуклюжий почерк. Его ручка вальяжно скользила по гладкой бумаге, выводя большими аккуратными буквами:

ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА  
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА  
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА  
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА  
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА,

снова и снова, заполняя половину страницы.

Не почувствовать приступ паники было невозможно. Абсурдно, ведь выводить эти конкретные слова не более опасно, чем в самом начале открыть дневник. И всё же в какой-то момент ему захотелось вырвать эти испорченные страницы и отказаться от всего предприятия.

Однако он ничего не сделал, ибо понимал, что всё бесполезно. Написал ли он ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА или удержался и не написал, – не имело значения. Продолжит ли он дневник или не продолжит, – не имело значения. Полиция Мысли заберёт его в любом случае. Он еще раньше совершил... и так и будет совершать, даже если бы никогда и не коснулся ручкой бумаги, самое главное преступление, которое уже содержит в себе все остальные. Мыслепреступление, так они это называют. Мыслепреступление не такая вещь, которую можно скрывать вечно. Какое-то время можно успешно увиливать, даже годами, но рано или поздно они тебя непременно достанут.

Это всегда происходило ночью... аресты непременно происходили ночью. Тебя внезапно вырывают из сна, грубая рука трясёт тебя за плечо, свет ослепляет глаза, вокруг кровати – суровые лица. В большинстве случаев не проводилось никакого расследования, не составлялось никакого протокола задержания. Люди просто исчезали, обычно по ночам. Твоё имя вычёркивалось из всех реестров, любое упоминание о чём-либо тобой содеянном уничтожалось, твое

существование во времени отрицалось и затем забывалось. Тебя упраздняли, уничтожали. Ты ИСПАРЯЛСЯ – обычно употребляли именно это слово.

На минуту его охватила своего рода истерика. Он начал выводить торопливыми неаккуратными каракулями:

они меня застрелят но что мне до этого они выстрелят мне в затылок но  
что мне до этого долой большого брата они всегда стреляют в затылок но что  
мне до этого долой большого брата...

Он откинулся назад на спинку стула, немного стыдясь содеянного, и отложил ручку. Еще минута – и он задрожал всем телом. В дверь постучали.

Уже! Он сидел тихо, как мышка, в тщетной надежде, что, кто бы это там ни был, он может развернуться и уйти после первой попытки. Но нет, стук повторился. Сердце стучало, как барабан, но лицо, по старой привычке, оставалось ничего не выражающим. Он поднялся и медленно направился к двери.

## Глава 2

Уже положив руку на ручку двери, Уинстон увидел, что дневник остался на столе открытым. ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА было написано кругом, да ещё такими большими буквами, что они читались из другого конца комнаты. Сделать подобное было невероятной глупостью. Но он понял, что даже в состоянии паники не хочет запачкать кремовую бумагу и закрыть тетрадь, пока чернила ещё не просохли.

Он набрал в лёгкие воздуха и открыл дверь. В тот же момент его захлестнула тёплая волна облегчения. Снаружи стояла бесцветная, забитого вида женщина с жидкими волосами и морщинистым лицом.

– Ох, товарищ, – начала она отвратительным плаксивым голосом. – Я подумала... я услышала, как вы пришли. Не можете ли зайти и посмотреть, что там с нашей раковиной? Она забилась и...

Это была миссис Парсонс, жена соседа по этажу. (Слово «миссис» в некотором смысле осуждалось Партией – считалось, что всех нужно было называть «товарищ», однако с некоторыми женщинами ты инстинктивно использовал именно это слово.) Это была женщина лет тридцати, но выглядела она намного старше. Возникло впечатление, что в морщины на её лице забились пыль. Уинстон последовал за ней по коридору. Такие самодеятельные исправления неполадок были едва ли не повседневным раздражителем. Дома жилого комплекса «Победа» были старыми; построенные в тридцатые годы или около того, они прямо разваливались на части. Штукатурка с потолков и стен постоянно осыпалась, трубы лопались при каждом сильном морозе, стоило пойти снегу – крыша протекала, отопительная система обычно работала вполсилы, если и вовсе не была перекрыта под предлогом экономии. Ремонты, за исключением тех, которые ты мог сделать самостоятельно, должны были быть санкционированы комитетами, находящимися далеко отсюда, и которые имели обыкновение откладывать года на два даже починку оконной рамы.

– Конечно, это всё из-за того, что Тома нет дома, – сказала невнятно миссис Парсонс.

Квартира Парсонсов была больше, чем у Уинстона, и запущенность её была совсем иного рода. Вид у неё был потрёпанный и затоптанный, будто место это только что посетил огромный разъярённый зверь. Спортивное снаряжение для разных игр, как-то: хоккейные клюшки, боксёрские перчатки, лопнувший футбольный мяч, пропитавшиеся потом и вывернутые наизнанку шорты – всё это валялось повсюду: и на полу, и на столе вместе с грязными тарелками и тетрадками с загнутыми уголками страниц. На стенах висели красные знамёна Молодёжной Лиги и Тайных Агентов, а также плакат с Большим Братом в полный рост. Стоял обычный запах варёной капусты, присущий всему зданию, но через него прорывался резкий запах вонючего пота – характерный запах человека, здесь сейчас не присутствующего. (Понятно это было с первого же вдоха, но непонятно, каким образом это становилось понятным.)

В другой комнате кто-то с помощью расчёски и куска туалетной бумаги старался извлечь мелодию военного марша, которая всё ещё лилась с телеэкрана.

– Это дети, – сказала миссис Парсонс, бросая боязливый взгляд на дверь. – Сегодня они не выходили на улицу. И конечно...

У неё была привычка обрывать предложение посередине. Раковина в кухне была почти до краёв наполнена грязной зеленоватой водой, которая пахла ещё хуже капусты. Уинстон встал на колени и осмотрел соединявшиеся под углом трубы. Ему было противно трогать всё это руками, и он терпеть не мог наклоняться, так как всегда начинал из-за этого кашлять. Миссис Парсонс беспомощно смотрела на него.

– Конечно, если бы Том был дома, он бы моментально это починил, – сказала она. – Ему нравится этим заниматься. Работа руками – для него, для Тома.

Парсонс был сослуживцем Уинстона в Министерстве Правды. Толстоватый, но очень активный мужчина, обладающий парализующей собеседника тупостью и невероятным количеством идиотского энтузиазма; он был одним из тех преданных трудящихся, от которых стабильность Партии зависит даже в большей степени, чем от Полиции Мысли. В тридцать пять он был, вопреки его собственному желанию, исключён из Молодёжной лиги, однако до окончания Молодёжной Лиги ему удалось остаться в Тайных Агентах на год дольше положенного возраста. В Министерстве его наняли на вспомогательную должность, не требующую работы ума, но он, в свою очередь, был ещё лидером Спортивного Комитета и всех прочих комитетов, занятых организацией массовых походов, добровольных демонстраций, сберегательных кампаний и добровольческой деятельности в целом. Частенько он с гордым спокойствием, выпуская дым из трубки, доводил до вашего сведения, что последние четыре года он каждый вечер появлялся в Общественном Центре. Неотразимый запах пота, своего рода неосознанное признание напряженного образа жизни, который он вёл, следовал за ним повсюду, куда бы он ни пришёл, и даже оставался после его ухода.

– У вас есть гаечный ключ? – спросил Уинстон, возившийся с гайкой на угловом шарнире.

– Гаечный ключ, – повторила миссис Парсонс, немедленно впадая в ступор. – Я не знаю. Не уверена. Возможно, дети...

Послышался топот ботинок и ещё одна сирена на расчёске, ибо в гостиную вошли дети. Миссис Парсонс принесла гаечный ключ. Уинстон спустил воду и с отвращением вынул пук волос, заблокировавший сливную трубу. Как можно быстрее он вымыл руки холодной водой из крана и вернулся в другую комнату.

– Руки вверх! – прокричал дикий голос.

Красивый, сурового вида мальчик лет девяти выскочил из-за стола, угрожая ему игрушечным автоматическим пистолетом, в то время как его младшая сестрёнка, года на два моложе, таким же жестом нацелилась на Уинстона деревяшкой. Оба были в синих шортах, серых рубашках с красными галстуками – униформа Агентов. Уинстон поднял руки вверх, однако почувствовал себя неловко: в поведении мальчика была такая злоба, что всё это мало походило на игру.

– Ты – предатель, – кричал мальчик. – Ты мыслепреступник! Ты – евразийский агент! Я тебя застрелю, я тебя испарю, я сошлю тебя на соляные копи!

Вдруг они оба запрыгали вокруг него, крича «Предатель! Мыслепреступник!». Маленькая девочка в точности повторяла за братом каждое движение. Было в этом что-то угрожающее, напоминающее забавы тигрят, которые скоро вырастут в тигров-людоедов. Во взгляде мальчика была некая расчётливая свирепость, вполне очевидное желание ударить или пнуть Уинстона и осознание того, что очень скоро он будет достаточно большим, чтобы это сделать. Хорошо ещё, что пистолет, который он держит, не настоящий, подумал Уинстон.

Взгляд миссис Парсонс нервно перебегал с Уинстона на детей и обратно. В гостиной, при более хорошем освещении, он с интересом отметил, что в морщинах на её лице действительно застряла пыль.

– Они, и правда, такие шумные, – сказала она. – Они расстроены, что не могут пойти посмотреть, как там будут вешать, всё из-за этого. У меня слишком много дел, чтобы их повести. Да и Том вовремя не придет с работы.

– Почему мы не можем пойти и посмотреть, как будут вешать? – взревел мальчик невероятно громким голосом.

– Хотим смотреть, как вешают! Хотим смотреть, как вешают! – припевала маленькая девочка, припрыгивая вокруг них.

Уинстон вспомнил, что вечером в парке должны быть повешены несколько евразийских заключённых. Такие вещи происходили раз в месяц и были популярным зрелищем. Дети всегда громко требовали, чтобы их туда брали посмотреть. Уинстон вышел от миссис Парсонс и направился к своей двери. Но он не сделал по коридору и шести шагов, как затылок его пронзила невыносимая боль. Казалось, что в него вонзили раскалённую докрасна проволоку. Он обернулся и успел заметить, как миссис Парсонс затаскивает сына обратно в квартиру, а тот прячет в карман рогатку.

– Голдстейн! – вопил ребенок, пока за ним не закрылась дверь. Но больше всего Уинстона поразил беспомощный страх, отразившийся на сероватом лице женщины.

Вернувшись в квартиру, он быстро прошёл мимо телеэкрана и снова сел за стол, продолжая потирать шею. Музыка с телеэкрана прекратилась. Вместо неё надтреснутым голосом военного, с неким человеконенавистническим удовольствием, читали описание вооружения новой Плавучей Крепости, которая только что встала на якорь между Исландией и Фарерскими островами.

С такими детьми, подумал Уинстон, эта несчастная женщина, наверное, живёт в постоянном страхе. Ещё годик-два, и они будут денно и ночью выискивать в ней симптомы антиортодоксальности. В наше время почти все дети ужасны. Ужаснее всего то, что с помощью таких организаций, как Агенты, они систематически превращаются в неуправляемых маленьких дикарей, но при этом у них не появляется склонности к какому-либо протесту против партийной дисциплины. Напротив, они преклоняются перед Партией и перед всем, что с ней связано. Все эти песни, марши, знамёна, походы, тренировки с винтовками на манекенах, выкрикивание лозунгов, поклонение Большому Брату – всё это для них, в некотором роде, славная игра. Вся их жестокость направляется во внешний мир, против врагов государства, против иностранцев, предателей, саботажников, идейных врагов. Стало вполне естественным, что люди, которым за тридцать, боятся своих собственных детей. И на то есть причины: не проходит и недели, чтобы «Таймс» не напечатала заметки о том, как какой-нибудь маленький доносчик – «ребенок-герой», как они обычно его называют, – подслушал некое компрометирующее замечание и донес на своих родителей в Полицию Мысли.

Жжение от выпущенной из рогатки пули прошло. Уинстон без особого энтузиазма взял ручку, раздумывая, что бы ещё записать в дневнике. Внезапно он опять подумал об О'Брайене.

Несколько лет тому назад... как давно это было? Должно быть, тому назад лет семь, ему приснилось, будто он идёт по комнате среди кромешной темноты. И кто-то, кто сидит в стороне от него, когда он проходит, говорит ему: «Мы встретимся в месте, где нет тьмы». И сказано это было очень спокойно, почти буднично; простое утверждение, не команда. Он прошёл дальше, не остановившись. Любопытным здесь было то, что в то время, во сне, слова не произвели на него впечатления. И только позднее ему постепенно стало казаться, что они приобрели значение. Он не помнил, когда именно, до этого ли сна или после него, он впервые увидел О'Брайена. Не помнил он также, когда он впервые услышал голос О'Брайена. Но в любом случае, узнавание состоялось. О'Брайен был тем, кто говорил с ним в темноте.

Уинстон никогда не был абсолютно уверен, что прав; даже после того утра, когда их глаза встретились, невозможно было сказать наверняка, был О'Брайен другом или врагом. Да это, казалось, и не имело особого значения. Между ними была связь взаимопонимания, более важная, чем привязанность или партнёрские отношения. «Мы встретимся в месте, где нет тьмы», – сказал он. Уинстон не знал, что это означает; он только знал, что так или иначе, но это сбудется.

Голос на телеэкране прервался. Звук трубы, ясный и красивый, проплыл в застоявшемся воздухе. Голос грубо продолжил:

«Внимание! Пожалуйста, внимание! Срочные новости только что поступили с Малабарского фронта. Наши вооружённые силы в Южной Индии одержали доблестную победу. Я упол-

номочен заявить, что то, о чём мы сейчас сообщаем, может привести войну к концу в ближайшем будущем. А теперь экстренное сообщение...»

Пойдут плохие новости, подумал Уинстон. Так и было, следом за кровавым описанием уничтожения евразийской армии, с огромным количеством убитых и взятых в плен, пошло объявление, что со следующей недели рацион шоколада сократится с тридцати граммов до двадцати.

Уинстон снова рыгнул. Джин выходил, оставляя чувство пустоты. Телеэкранный праздник победы, то ли заглушая воспоминание об утраченном шоколаде, грянул «Океания, это для тебя». Предполагалось, что ты встанешь, весь во внимании. Однако в теперешнем его положении он не был виден.

«Океания, это для тебя» уступило место более лёгкой музыке. Уинстон подошёл к окну, продолжая держаться спиной к телеэкрану. День по-прежнему был холодным и ясным. Где-то вдалеке с унылым гулким рёвом разорвалась ракета. Теперь на Лондон падают примерно двадцать-тридцать таких ракет в неделю.

Внизу на улице ветер трепал разорванный плакат, вертя его из стороны в сторону, и слово АНГЛОСОЦ то резко появлялось, то исчезало. Англосоц. Священные принципы Англосоца. Новояз, двоемыслие, видоизменяемость прошлого. Он чувствовал себя так, будто он бродит по лесу на морском дне, заблудившись в мире чудовищ, где и сам он – такое же чудовище. И он один. Прошлое мертво, будущее невообразимо. Какая может у него быть уверенность, что хоть одно живое существо на его стороне? И как узнать, что власть Партии не будет длиться ВЕЧНО? Как ответ на эти вопросы вернулись к нему три лозунга на белом фасаде Министерства Правды:

ВОЙНА – ЭТО МИР  
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО  
НЕВЕЖЕСТВО – ЭТО СИЛА

Он вынул из кармана двадцатипятицентовую монету. Там тоже на одной стороне маленькими буквами были выведены те же самые лозунги, а на другой – голова Большого Брата. Даже с монеты его глаза преследовали тебя. На монетах, на марках, на обложках книг, на знамёнах, на плакатах, на обёртках сигаретных пачек – они были везде. Эти глаза всегда следили за тобой, а этот голос тебя обволакивал. Спишь ты или бодрствуешь, работаешь или ешь, в ванной ты или в кровати – тебе от него не уйти. У тебя не оставалось ничего своего, кроме нескольких кубических сантиметров внутри твоего черепа.

Солнце начинало садиться, и мириады окон Министерства Правды, теперь не отражающие его свет, выглядели мрачными амбразами крепости. Сердце Уинстона затрепетало от страха перед этой огромной пирамидальной формой. Она слишком крепка, чтобы можно было взять её штурмом. Её не разрушат сотни управляемых ракет. Он снова задумался над тем, для кого пишет дневник. Для будущего, для прошлого, для эпохи, которая, возможно, существует лишь в воображении. А впереди у него – не смерть, а уничтожение. Дневник его будет превращён в пепел, а он сам – в пар. Только Полиция Мысли, перед тем как они сотрут его из существования и из памяти, сможет прочитать то, что он написал. Как можешь ты воззвать к будущему, когда от тебя физически не останется ни следа, ни даже одного анонимного слова, нацарапанного на клочке бумаги?

Телеэкранный пробил четырнадцать. Через десять минут он должен уйти. Ему нужно быть на работе в четырнадцать тридцать.

Как ни странно, бой часов, казалось, придал ему силы. Он – одинокий призрак, провозглашающий правду, которую никто никогда не услышит. Но пока он будет её провозглашать, каким-то непонятным способом, связь в мире не прервётся. Задача не в том, чтобы тебя услы-

шали, а в том, чтобы осознавать, что ты несешь в себе наследие человечества. Он вернулся к столу, окунул ручку в чернила и написал:

В будущее или в прошлое, во времена, когда мысль свободна, когда один человек отличается от другого и не живёт один... во времена, когда правда существует и когда сделанное не может быть отменено:

Из эпохи единообразия, из эпохи одиночества, из эпохи Большого Брата и двоемыслия... Мои приветствия!

«Я уже мёртв», – подумал он. Ему показалось, что только сейчас, когда он начал, когда оказался способным сформулировать свои мысли, только сейчас он предпринял решительный шаг. Последствия каждого действия включены уже в само действие. Он написал:

Мыслепреступление не влечет за собой смерть – мыслепреступление –  
**ЭТО И ЕСТЬ СМЕРТЬ.**

Теперь ему, после осознания себя как мёртвого, стало важным оставаться живым как можно дольше. Два пальца на правой руке у него были испачканы чернилами. Именно такая деталь может его выдать. Какой-нибудь всё вынюхивающий фанатик в Министерстве (возможно, женщина; типа той маленькой, с волосами песочного цвета, или темноволосая девушка из Департамента Беллетристики) может задуматься, почему это он писал во время обеденного перерыва, почему это он пользовался старомодной ручкой, ЧТО это он писал, – а потом намекнуть ненароком в соответствующем месте. Он отправился в ванную и тщательно соскрёб чернила с помощью жёсткого тёмно-коричневого мыла, которое скребло кожу как наждачная бумага и как раз отлично подходило для этой цели.

Дневник он убрал в ящик. Бесплезно было думать о том, чтобы его спрятать, но проверить, узнали или нет о его существовании, он мог. Волос, положенный в конце страницы, был слишком заметен. Кончиком пальца он поддел неразличимую крупичку беловатой пыли и поместил её на угол обложки, где её непременно стряхнут, если будут передвигать тетрадь.

## Глава 3

Уинстону снилась мать.

Ему было, как он полагал, лет десять или одиннадцать, когда его мать исчезла. Она была высокой, статной женщиной, довольно молчаливой, она медленно двигалась и у неё были великолепные светлые волосы. Отца он помнил более смутно: темноволосый и худой, всегда на нём аккуратная тёмная одежда (особенно хорошо Уинстон запомнил тонкие подошвы отцовских туфель). И ещё он носил очки. Их обоих, по всей очевидности, поглотила одна из первых больших чисток пятидесятых.

Во сне мать сидела в каком-то месте, в глубине, далеко под ним, с его маленькой сестрёнкой на руках. Сестру свою он совсем не помнил, помнил лишь крошечного слабенького младенца, всегда молчаливого, с большими внимательными глазами. Они обе смотрели на него. Они были в каком-то месте глубоко под землёй; место походило на дно колодца или очень глубокую могилу, но место это, которое и так уже было глубоко под ним, продолжало опускаться вниз. Они были в салоне тонущего корабля и смотрели на него через темнеющую воду. В салоне ещё был воздух, но они, тем не менее, погружались всё ниже и ниже, в зелёные воды, которые в любой момент могли скрыть их навсегда. Он был снаружи, там, где свет и воздух, тогда как их затягивало всё глубже, к смерти. И они были там, внизу, потому что он был наверху, здесь. Он знал это, и они это знали, и он читал это по их лицам. Но ни на их лицах, ни в их сердцах не было упрёка, только понимание того, что они должны умереть, чтобы он мог остаться живым, и что это была часть неизбежного порядка вещей.

Он не помнил, что произошло, но он знал в этом своём сне, что каким-то образом жизни его матери и сестры были отданы в жертву ради его собственной. Это был один из тех снов, в которых сохраняющаяся атмосфера сна становится продолжением интеллектуальной жизни и ты осознаешь факты и мысли, которые и после пробуждения не теряют своей новизны и ценности. Мысль, поразившая сейчас Уинстона, заключалась в том, что смерть его матери, около тридцати лет назад, была трагической и мрачной, что в наши дни уже невозможно. Трагедия, осознал он, принадлежала древности, она осталась в том времени, когда существовала личная жизнь, любовь и дружба и когда члены семьи стояли друг за друга без необходимости выискивать для этого причину. Его сердце разрывалось при воспоминании о матери, потому что она, умирая, любила его, а он тогда был слишком молод и эгоистичен, чтобы отвечать ей ответной любовью, и ещё потому, что она каким-то образом – он не помнил, каким именно, – пожертвовала собой ради идеи верности, которая была частью её самой, идеей её личной и неизменно ей присущей. Такие вещи, как он понимал, не могут происходить в наши дни. Сейчас существует страх, ненависть и боль, достоинства и эмоций больше нет, как нет больше глубокой и серьёзной скорби. Всё это он, казалось, увидел в глазах матери и сестры, которые смотрели на него через зелёную воду, в сотне саженей от него, погружаясь всё глубже и глубже.

Внезапно оказалось, что он стоит на небольшом упругом газончике летним вечером, косые лучи солнца золотят землю. Пейзаж, на который он смотрит, так часто возвращается в его снах, что он не может с полной уверенностью сказать, видел он его или нет в реальном мире. Просыпаясь, он мысленно называл его Золотой Страной. Это было старое, обгрызанное кроликами пастбище, с протоптанной по нему тропинкой и кротовыми норками здесь и там. На неровной живой изгороди на противоположной стороне поля лёгкий ветерок тихонько раскачивал ветки вязов, их листья слегка волновались в густой массе, как волосы женщины. Где-то невдалеке, совсем под боком, но скрытый для глаза, струился неторопливый ручей, в чьих заводях под ивами плавала плотва.

Через поле к ним шла девушка с тёмными волосами. Одним жестом, как ему показалось, она сорвала с себя одежду и пренебрежительно отбросила её в сторону. Тело её было белое и

гладкое, но оно не пробудило в нём желания – он едва взглянул на него. Восхищение, охватившее его в этот момент, было вызвано жестом, которым она отбросила одежду. Грациозностью и беззаботностью этого жеста она, казалось, уничтожила всю культуру, всю систему мышления; она словно превратила в ничто и Большого Брата, и Партию, и Полицию Мысли одним лишь прекрасным движением руки. Этот жест тоже принадлежал к древним временам. Проснулся Уинстон со словом «Шекспир» на губах.

Телеэкран издавал оглушительный свист, продолжавшийся на одной и той же ноте тридцать секунд. Было ноль семь, пятнадцать – время подъёма для офисных служащих. Уинстон с трудом оторвал своё тело от кровати (голое тело, так как члены Внешней Партии получали ежегодно на одежду только 3 000 купонов, а пижама стоила 600) и схватил грязную майку и шорты, лежавшие на стуле. Физическая Гимнастика начнётся через три минуты. Через секунду он согнулся вдвое из-за приступа неистового кашля, который почти всегда нападал на него сразу после пробуждения. Приступ опорожнил его лёгкие до такого предела, что он пришёл в себя только после того, как лёг на спину и сделал серию глубоких вдохов. От вызванного кашлем напряжения его вены вздулись, а варикозная рана зачесалась.

– Группа от тридцати до сорока! – пролаял пронзительный женский голос. – Группа от тридцати до сорока! Займите места, пожалуйста. От тридцати до сорока!

Уинстон направил всё внимание на телеэкран, на котором уже появился образ молодой женщины, худой, но мускулистой, одетой в тунику и спортивную обувь.

– Сгибание и вытягивание рук! – отчеканила она. – Следуйте за мной. РАЗ, два, три, четыре! РАЗ, два, три, четыре! Продолжайте, товарищи, продолжайте. Приложите больше усилий! РАЗ, два, три, четыре! РАЗ, два, три, четыре!..

Вызванная приступом кашля боль не затмила окончательно в сознании Уинстона впечатления, оставшиеся после сна, а ритмические движения физических упражнений в какой-то степени их восстановили. Автоматически выбрасывая руки вперед-назад и изображая на лице выражение мрачного удовольствия, считавшееся подходящим для Физической Зарядки, он старался пройти мысленно путь назад, в неясный период раннего детства. Это было чрезвычайно трудно. Раньше конца пятидесятых всё было расплывчато. Когда не было упоминаний о внешних событиях, на которые ты мог опираться, очертания даже твоей собственной жизни теряли резкость. Тебе запоминались значительные события, которые, вполне вероятно, вовсе не происходили; ты помнил детали инцидентов, но не способен был восстановить в памяти их атмосферу, и оставались долгие пустые периоды, которые у тебя ни с чем не связывались. Тогда всё было по-другому. Даже названия стран, их очертания на карте, были другими. Взлётно-посадочная Полоса Номер Один, например, не называлась так в те дни – она называлась Англия или Британия, а вот Лондон, в этом он был вполне уверен, всегда назывался Лондоном.

Уинстон не мог точно вспомнить время, когда его страна не была в состоянии войны, однако было очевидно, что во времена его детства был довольно длительный мирный период, потому что одно из его ранних воспоминаний было о воздушном налёте, который для всех оказался неожиданностью. Возможно, это было именно в тот раз, когда атомная бомба упала на Колчестер. Он не помнил сам налёт, но помнил, как крепко рука отца стиснула его руку, когда они в спешке спускались всё ниже и ниже под землю, круг за кругом по спиральной лестнице, которая вилась у него под ногами и от которой его ноги в конце концов так устали, что он захныкал, и им пришлось остановиться передохнуть. Его мать, в своём обычном состоянии неторопливой задумчивости, всё время шла за ними следом. Она несла младшую сестрёнку... а, возможно, это были всего лишь свёрнутые одеяла: он не был уверен, родилась ли к тому времени его сестра. Наконец, они попали в шумное, битком набитое людьми место, которое, как он понял, было станцией метро.

Некоторые из этих людей сидели на мощёном каменном полу, другие сидели впритык на металлических нарах, расположенных одна над другой. Уинстон с матерью и отцом отыскивали

себе место на полу, а рядом с ними на полке бок о бок сидели двое старичков – мужчина и женщина. На мужчине был благородный чёрный костюм и чёрная мягкая кепка, сдвинутая назад и открывавшая абсолютно седые волосы. У него было красное лицо и полные слёз голубые глаза. От него пахло джином. Казалось, вместо пота из его кожи выходит джин, и можно было подумать, что застилавшие его глаза слёзы тоже были чистой воды джином. Но он, хоть и слегка пьяный, страдал из-за какого-то горя, настоящего и непереносимого. Своим детским чутьём Уинстон понял, что произошло нечто ужасное, чего нельзя простить и что никогда не исправить. Ему также показалось, что он знал, что именно это было. Кто-то, кого этот старик любил – возможно, его маленькая внучка – был убит. Каждые несколько минут старик повторял одно и то же:

– Мы не должны были им доверять. Я же так и говорил, дорогая, разве нет? Вот что получилось из того, что мы им поверили. Я всегда об этом говорил. Нельзя было доверять негодьям.

Но каким именно негодьям нельзя было доверять, Уинстон сейчас вспомнить не мог.

Начиная примерно с этого времени, война продолжалась практически без перерывов, хотя, строго говоря, эта война уже не была такой, как раньше. Во времена его детства в течение нескольких месяцев проходили беспорядочные уличные бои в самом Лондоне, некоторые из которых он живо помнил. Однако найти какое-либо упоминание в истории обо всём этом периоде, сказать, кто с кем сражался в каждый определённый период времени, было абсолютно невозможно, ибо не существовало ни одного письменного документа, не было сказано ни одного слова, где бы упоминалось о чём-либо ином, кроме существующей ныне ситуации. В данный момент, например, в 1984 году (если это действительно был 1984), Океания находилась в состоянии войны с Евразией и в альянсе с Истазией. Ни в одном публичном или частном высказывании не было признано, что три эти державы в какое-то время образовывали группировки иного вида. Однако Уинстон прекрасно знал, что всего четыре года назад Океания была в состоянии войны с Истазией и в альянсе с Евразией. Но это его знание было секретным, и обладал он им только потому, что его память контролировалась в недостаточной степени. Официально смена партнёров никогда не происходила. Океания была в состоянии войны с Евразией – следовательно, Океания всегда была в состоянии войны с Евразией. Тот враг, который существовал в данный момент, всегда представлял собой абсолютное зло, а из этого следовало, что ни в прошлом, ни в будущем никакие договорённости с ним невозможны.

Страшно во всём этом то, подумал он в десятитысячный раз усилием воли преодолевая боль и наклоня плечи назад (упершись руками в бёдра, они делали вращательные движения тела от талии – считалось, что такое упражнение полезно для мышц спины), страшно то, что это может быть правдой. Если Партия сможет засунуть свою лапу в прошлое и заявить, что того или иного события НИКОГДА НЕ БЫЛО, – вот это, бесспорно, страшнее, чем пытки и смерть.

Партия сказала, что Океания никогда не была в альянсе с Евразией. Он, Уинстон Смит, знал, что Океания была в альянсе с Евразией не далее, чем четыре года назад. Но где существует это знание? Только в его собственном мозгу, который, в любом случае, вскоре будет уничтожен. А если все остальные приняли ложь, которую навязывала Партия, если во всех отчётах содержится одна и та же история, тогда ложь входит в историю и становится правдой. «Кто контролирует прошлое, – гласил лозунг Партии, – тот контролирует будущее; кто контролирует настоящее – контролирует прошлое». И всё же прошлое, хоть и изменяемое по своей природе, никогда не менялось. То, что является правдой сейчас, было правдой во веки вечные. Всё было довольно просто. Для этого требовалась лишь нескончаемая серия побед над своей собственной памятью. «Контроль реальности», так они это называли, а на новоязе – «двоемыслие».

– Вольно! – рявкнула инструкторша, чуть более доброжелательно.

Уинстон опустил руки по бокам и медленно наполнил лёгкие воздухом. Мысленно он уплыл в лабиринт мира двоемыслия. Знать и не знать, осознавать абсолютную правдивость, рассказывая тщательно придуманную ложь, быть одновременно двух взаимоисключающих мнений, зная при этом, что они противоречат друг другу, но верить в каждое из них, использовать логику против логики, отвергать мораль и предъявлять права на неё, верить, что демократия невозможна, и, в то же время, что Партия стоит на защите демократии, забывать всё, что угодно, если это необходимо забыть, а затем вытаскивать опять из памяти в тот момент, когда появится нужда, а потом быстро забыть снова, а главное, применять тот же самый процесс к процессу как таковому. В этом-то и была главная хитрость: сознательно вызывать бессознательное состояние, а затем, вновь, забывать о том действии гипноза, который только что имел место быть. Даже для того, чтобы понять слово «двоемыслие», необходимо пользоваться двоемыслием.

Инструкторша снова призвала их сконцентрировать внимание.

– А теперь посмотрим, кто из вас сможет достать до кончиков пальцев ног! – с энтузиазмом проговорила она. – Прямо от бёдер, товарищи. Пожалуйста. РАЗ – два! РАЗ – два!..

Уинстон ненавидел это упражнение: оно вызывало простреливающие боли прямо от пяток к ягодицам и часто заканчивалось новым приступом кашля. Медитация же вызвала наполовину приятное чувство. Прошлое, рассуждал он, не было просто изменено, оно фактически было разрушено. Ибо как мог ты установить даже самый очевидный факт, если никакого упоминания о нём не существовало нигде кроме твоей памяти? Он постарался вспомнить, в каком году услышал в первый раз упоминание о Большом Брате. Он подумал, что это, должно быть, было во время шестидесятых, однако утверждать с уверенностью было невозможно. В истории Партии Большой Брат фигурировал как лидер и страж Революции с самых первых её дней. Его подвиги постепенно отодвигались назад, всё дальше и дальше во времени, пока не оттянулись до загадочного мира сороковых и тридцатых, когда капиталисты в своих цилиндрических шляпах ещё разъезжали по улицам Лондона в огромных сверкающих автомобилях или в запряжённых лошадьми экипажах со стеклянными окнами по бокам. Не было известно, что в этой легенде правда и сколько в ней вымысла. Уинстон даже не мог вспомнить дату, когда Партия как таковая начала своё существование. Ему не верилось, что он когда-то до 1960 слышал слово Англосоц, хотя не исключено, что в Староязе оно существовало в форме «Английский Социализм», как тогда говорили, а это было гораздо раньше. Всё растаяло в тумане. Иногда, конечно, удавалось попасть пальцем прямо в конкретную ложь. Например, было неправдой, что, как заявляли Партийные книги по истории, аэропланы изобрела Партия. Он помнил аэропланы с раннего детства. Но ничего нельзя было доказать. Не было никакого доказательства. Никогда. Всего лишь однажды за всю свою жизнь он держал в руках безошибочное документальное доказательство фальсификации исторического факта. И в тот раз...

– Смит! – раздался злобный голос с телеэкрана. – 6079 Смит У.! Да, ВЫ! Наклоняйтесь ниже, старайтесь! Вы можете выполнять это гораздо лучше. Вы не стараетесь. Ниже, старайтесь! Вот это лучше, товарищ. А теперь – вольно, вся группа, и смотрим на меня.

Внезапно холодный пот покрыл Уинстона всего, с головы до ног. Но лицо его оставалось абсолютно непроницаемым. Никогда не показывай тревоги! Никогда не показывай возмущения! Один твой взгляд может выдать тебя с головой. Он стоял и смотрел, как инструкторша подняла руки над головой и – нельзя сказать, чтобы грациозно, но с исключительной точностью и усердием – согнулась и подсунула кончики пальцев рук под пальцы ног.

– ВОТ ТАК, товарищи! Я хочу увидеть, что вы все ТАК делаете. Посмотрите ещё раз. Мне тридцать девять, и у меня четверо детей. А теперь смотрите. – Она согнулась опять. – Вы видите, мои колени не сгибаются. Вы все можете сделать так, если захотите, – добавила она, разгибаясь. – Каждый до сорока пяти прекрасно может дотянуться до носков. Не у каждого из нас есть привилегия сражаться в первой линии, но мы, по крайней мере, можем под-

держивать форму. Помните наших мальчиков на Малабарском фронте! И моряков в Пла-  
вучей Крепости! Только подумайте, что ИМ приходится терпеть. Теперь попробуйте снова.  
Это лучше, товарищи, это НАМНОГО лучше, добавила она ободряюще, когда Уинстон, сделав  
резкий выпад, достал-таки до носков с прямыми коленями, впервые за несколько лет.

## Глава 4

С глубоким, непреднамеренным вздохом – не издать который в начале рабочего дня он не мог, и даже близость телеэкрана не могла этому помешать – Уинстон подвинул к себе речеписчик, сдул пыль с его ротовой части и надел очки. Затем он развернул и скрепил вместе четыре маленьких цилиндрических свёртка бумаги, которые уже выскочили из пневматической трубы с правой стороны на его письменный стол.

В стене его кабинки было три отверстия. Справа от речеписчика – небольшая пневматическая труба для печатных сообщений, слева – труба побольше, для газет, а в боковой стене, так, чтобы легко было достать, протянув руку, – большая продолговатая щель, защищённая проволочной решёткой. Эта последняя предназначалась для ликвидации использованной бумаги. Подобные щели существовали тысячами и сотнями тысяч по всему зданию, причём не только в комнатах, но через небольшие интервалы и в каждом коридоре. Их по какой-то причине прозвали дырами памяти. Когда ты понимал, что документ подлежит уничтожению, или даже просто увидел, что рядом лежит использованный клочок бумаги, ты автоматически поднимал заслонку ближайшей дыры и выбрасывал бумажку туда, после чего она, подхваченная потоком тёплого воздуха, улетала прочь, в огромные печи, расположенные где-то в недрах здания.

Уинстон внимательно рассмотрел развёрнутые им ранее четыре листа бумаги. На каждом из них содержалось сообщение всего из одной-двух строчек на жаргоне с аббревиатурами – даже не на Новоязе, но на состоявшем, по большей части, из слов Новояза, – который использовался в Министерстве для внутренних целей. Сообщения гласили:

таймс 17.3.84 бб речь ошибочна африка ректифицировать

таймс 19.12.83 прогноз 3 на 4 квартал 83 опечатки согласовать с сегодняшним выпуском

таймс 14.2.84 миниизобилие ошибка цитаты шоколад ректифицировать

таймс 3.12.83 сообщение бб день порядок двоимыплюснехорош ссылки неперсон переписать полностью верхпредъяв доархив

С чувством некоторого удовлетворения Уинстон отложил четвёртое сообщение в сторону. С ним работа запутанная и ответственная – лучше оставить её напоследок. Остальные три были делами повседневными, хотя второе предполагало утомительное копание в списках с цифрами.

Уинстон набрал на телеэкране «старые номера» и запросил соответствующие издания «Таймс», которые после минутной задержки выскочили из пневматической трубы. Полученные им перед этим сообщения относились к статьям или информационным сообщениям, которые, как посчитали, по той или иной причине было необходимо изменить, или, как называлось это на официальном языке, ректифицировать. Например, в «Таймс» от семнадцатого марта говорилось, что Большой Брат в своей речи за день до этого предсказал, что на южноиндийском фронте всё будет спокойно и что Евразия скоро перейдёт в наступление на Северную Африку. А получилось так, что Высшее Командование Евразии начало наступление на Южную Индию, а Северную Африку оставило в покое. Теперь необходимо было переписать отрывок из речи Большого Брата таким образом, чтобы получилось, что он предсказал то, что произошло на самом деле. Или ещё, девятнадцатого декабря «Таймс» опубликовала официальный прогноз производства различных видов потребительских товаров в первой четверти 1983 года, которая, в свою очередь, являлась шестой четвертью Девятого Трёхлетнего плана. В сегодняшнем

издании содержалось положение о фактическом производстве, из которого следовало, что прогноз был по всем показателям в высшей степени ошибочный. Работа Уинстона состояла в том, чтобы ректифицировать начальные цифры, приведя их в соответствие с более поздними. Что же касается третьего сообщения, то оно имело отношение к очень простой ошибке, которую можно исправить за пару минут. Не ранее как в феврале Министерство Изобилия опубликовало обещание («безусловная гарантия», так это официально называлось), что в течение 1984 года не будет сокращения рациона шоколада. Уинстон был в курсе, что на самом деле рацион шоколада должен быть сокращён с тридцати граммов до двадцати к концу этой недели. Всё, что ему необходимо было сделать, это заменить оригинальное обещание на предупреждение, что не исключается необходимость сокращения рациона в какое-то время в апреле.

Как только Уинстон заканчивал работу с каждым из сообщений, он врезал свои письменно-голосовые исправления в соответствующий тираж «Таймс» и запускал их в пневматическую трубу. Затем движением, которое было как можно более бессознательным, он сминал оригинальное сообщение и любые, сделанные им записи, и бросал их в дыру памяти, на сжигание пламени.

Подробностей о том, что происходило в невидимом лабиринте, куда вели пневматические трубы, он не знал, однако имел об этом общее представление. Как только все, оказавшиеся необходимыми исправления в каждом конкретном номере «Таймс» были собраны и сопоставлены, номер перепечатывался, оригинальный тираж уничтожался, а исправленный занимал его место. Этот процесс постоянного изменения применялся не только к газетам, но и к книгам, периодическим изданиям, памфлетам, плакатам, буклетам, фильмам, саундтрекам, комиксам, фотографиям – к любому виду литературы и документации, которая предположительно могла иметь хоть какое-нибудь политическое или идеологическое содержание. День за днём и почти минута за минутой прошлое обновлялось. Таким образом, любое предсказание, сделанное Партией, могло быть представлено как правильное с документальной очевидностью, и ни об одном информационном сообщении в новостях, ни об одном высказанном мнении, шедшем вразрез с нуждами момента, никогда не разрешалось оставлять и упоминания. Вся история оказалась палимпсестом, начисто счищенным и заново начертанным именно столько раз, сколько того требовалось. И коль скоро это было сделано, ни в каком случае было абсолютно невозможно доказать, что фальсификация имела место. Самая большая секция Департамента Документов, гораздо больше, чем та, в которой работал Уинстон, состояла исключительно из людей, в чьи обязанности входило отслеживать и собирать все тиражи книг, газет и других документов, которые были заменены или подлежали ликвидации. Номер «Таймс», который, из-за политической корректировки или ошибочных пророчеств Большого Брата, мог быть переписан сотни раз, сохранялся в архивах под своей оригинальной датой, и не было ни одного опровергающего его экземпляра. Таким же образом изымались и переписывались помногу раз книги, переиздание которых было абсолютно невозможным, если соответствующие изменения не были внесены. Даже в письменных инструкциях, которые Уинстон получал и от которых он в обязательном порядке избавлялся, как только работа по ним была проделана, никогда не утверждалась и не подразумевалась необходимость совершения фальсификации; в них упоминались только промахи, ошибки, опечатки или неточности в цитатах, которые необходимо было исправить в интересах достоверности.

Но ведь фактически, думал он, выправляя цифры Министерства Изобилия, это даже не фальсификация. Это всего лишь замена одной ахиней на другую. Большая часть материала, с которым ты сталкивался, никак не была связана с чем-либо в реальном мире. Его содержание не имело отношения даже к непосредственному обману. Статистика, в её изначальной форме, была таким же вымыслом, как и её исправленный вариант. Уже давно предполагалось, что вы не будете брать всё это в голову. Так, например, Министерство Изобилия давало прогноз, что в первом квартале будет произведено 145 миллионов пар ботинок. Была дана цифра

фактического производства ботинок: шестьдесят два миллиона. Однако Уинстон, переписывая прогноз, занижил эту цифру до пятидесяти шести миллионов, удовлетворяя таким образом обычное требование, чтобы норма была перевыполнена. Хотя в любом случае шестьдесят два миллиона были столь же далеки от правды, как и пятьдесят семь миллионов, или как сто сорок пять миллионов. Вполне вероятно, что никаких ботинок вообще произведено не было. Хотя ещё вероятнее, что количество произведённых ботинок никого не волновало. Каждый понимал, что на бумаге в каждом квартале производилось огромное количество ботинок, тогда как примерно половина населения Океании ходило босиком. И так было с отчётом по любому вопросу, значительному или пустяковому. Всё постепенно исчезало в туманном мире, где, в конце концов, даже за точность года в указанной дате нельзя было ручаться.

Уинстон оглядел зал. В такой же, как у него кабинке на другой стороне усердно работал надлежащего вида человек с выбритым до синевы подбородком по имени Тиллотсон; он положил свёрнутую газету на колени и максимально приблизил рот к ротовой части речеписчика. У него был такой вид, будто он старается сохранить надиктованное в секрете между собой и речеписчиком. Он поднял глаза, и его очки злобно блеснули в ответ на взгляд Уинстона.

Уинстон был едва знаком с Тиллотсоном и не имел ни малейшего представления о том, над чем тот работает. Люди в Департаменте Документации неохотно говорили о своей работе. В длинном зале без окон с кабинками в два ряда, с его бесконечным шелестом бумаги и гулом голосов, бубнивших что-то в речеписчики, было с десяток человек, которых Уинстон даже не знал по имени, хотя ежедневно встречал их, когда они торопливо шли по коридору или жестикулировали на Двухминутке Ненависти. Он знал, что в соседней с ним кабинке день напролёт усердно трудится женщина с песочного цвета волосами, просто-напросто отслеживая и удаляя из прессы имена людей, которых испарили и которые, как считалось, никогда не существовали. Для этого требовалась особая выдержка, так как её мужа испарили два года назад. А за несколько кабинок от него мягкое, слабосильное, мечтательное существо по имени Амплефорт, с очень волосатыми ушами и изумительным талантом жонглировать рифмами и метрами, был занят производством искажённых версий (дефинитивных текстов, так они назывались) стихотворений, которые стали идеологически неверными, но которые по той или иной причине должны были остаться в антологиях. И этот зал, с его работниками в количестве пятидесяти человек или около того, был всего лишь подразделением, единичной ячейкой в огромной сложной системе Департамента Документации. Помимо них, снизу и сверху, находилась масса других работников, занятых на невероятном множестве всевозможных работ. Там располагалось огромное количество типографий со своими субредакторами, специалистами в области печати, а также тщательно оборудованные студии для фальсификации фотографий. Был там и отдел телепрограмм со своими инженерами, директорами и командами актёров, выбранными исключительно из-за их способности имитировать голоса. Были там и армии референтов, единственная обязанность которых состояла в составлении списков книг и периодических изданий, подлежащих ликвидации. Были там и обширные хранилища, где хранились выправленные документы, и тайные печи, где уничтожались оригиналы документов. И где-то там, или в другом месте, довольно анонимном, располагались и те издающие директивы головы, которые координировали все эти усилия и закладывали основы курса, благодаря которому стало необходимо, чтобы один фрагмент прошлого был сохранён, другой – фальсифицирован, а третий – прекратил своё существование.

А Департамент Документации был, в свою очередь, всего лишь одним из филиалов Министерства Правды, основная работа которого состояла не в том, чтобы реконструировать прошлое, а в том, чтобы обеспечивать граждан Океании газетами, фильмами, учебниками, телепрограммами, играми, романами, то есть, разного рода информацией, инструкциями или развлечениями, то есть всем – от памятника до лозунга, от лирической поэмы до научного труда по биологии, от детского сборника упражнений по правописанию до словаря Новояза.

И Министерство должно было не только удовлетворять многочисленные потребности партийцев, но и повторять всё ту же операцию на более низком уровне для нужд пролетариата. Существовала целая цепочка отдельных департаментов, занимающихся пролетарской литературой, музыкой, драмой и развлечениями в целом. Здесь выпускались низкого пошиба газеты, где не было ничего кроме спорта, преступлений и астрологии, сенсационные пятицентовые новеллы, фильмы, напичканные сексом, и сентиментальные песенки, сочинённые исключительно техническими средствами на особом виде калейдоскопе, известном как версификатор. Была даже целая подсекция – Порносек, как называлась она на Новоязе, – занимавшаяся производством самого низкого вида порнографии, которая рассылалась в запечатанных пакетах и которую ни одному члену Партии, за исключением тех, кто над этим работал, не разрешалось смотреть.

Пока Уинстон работал, три сообщения были отправлены в пневматическую трубу, но то были простые задания, и он разобрался с ними уже до того, как его работу прервала Двухминутка Ненависти. Когда Ненависть закончилась, он вернулся в свою кабинку, взял с полки словарь Новояза, отодвинул речеписчик в сторону, протёр очки и принялся за главное задание этого утра.

Самое большое удовольствие в жизни Уинстону доставляла его работа. По большей части работа эта была утомительной и рутинной, но иногда в ней встречались задания настолько сложные и замысловатые, что в них можно было запутаться как в дебрях сложной математической задачи. Это были очень деликатные случаи фальсификации, в которых тебе нечем было руководствоваться, кроме твоего собственного понимания принципов Англосоца и твоего собственного представления о том, что именно Партия хочет сказать. В этом Уинстон преуспел. Бывало, ему доверяли даже исправление ведущих статей в «Таймс», которые были написаны полностью на Новоязе. Он развернул ранее отложенное сообщение. Оно гласило:

таймс 3.12.83 сообщение бб день порядок двоимыслуснехорош ссылки  
неперсон переписать полностью верхпредъяв доархив

На Староязе (обычном английском) оно могло бы быть воспроизведено следующим образом:

Сообщение о Приказе Большого Брата в «Таймс» в день 3-го декабря  
1983 в высшей степени неудовлетворительно, и в нём есть ссылки на  
несуществующего человека. Переписать полностью и перед отправлением в  
архив представить свой проект высшему руководству.

Уинстон прочитал вызвавшую недовольство статью. Приказ Большого Брата в тот день, казалось, имел главной задачей похвалить работу организации, известной как ПККК, которая обеспечивала сигаретами и другими предметами хозяйственно-бытового обихода моряков Плавучей Крепости. Некий товарищ Уайтерс, известный член Внутренней Партии был отмечен и упомянут отдельно, а также награждён Орденом за Выдающиеся Заслуги Второй степени.

Три месяца спустя ПККК была внезапно распущена без объяснения причин. Можно было заключить, что Уайтерс и его сподвижники попали в немилость, однако никакой информации об этом деле ни в Прессе, ни на телеэкране не последовало. Да и чего можно было ожидать, если заводить судебное дело или даже публично осуждать политических преступников было не принято. Большие чистки затрагивали тысячи людей; они проходили с открытым для публики судом над предателями и идеологическими преступниками, которые униженно признавались в своих преступлениях, а затем были казнены. Это были особые показательные мероприятия, которые случались не чаще, чем раз в пару лет. В то же время люди, навлекшие на себя недовольство Партии, чаще всего просто исчезали, и о них больше ничего не было слышно. Ни у кого не было ни малейшего представления о том, что с ними произошло. В некоторых случаях они, может быть, даже не были мертвы. Человек, вероятно, тридцать из тех, кого Уинстон знал лично, не считая его родителей, исчезли в то или иное время.

Уинстон слегка потёр нос скрепкой для бумаги. В кабинке напротив Товарищ Тиллотсон всё ещё сидел, склонившись с таинственным видом над своим речеписчиком. Он на минуту поднял голову – его очки опять злобно блеснули. Уинстон подумал, не занимается ли Тиллотсон той же работой, что и он. Это было очень даже возможно. Такую каверзную работу никогда не доверяли одному человеку. Представить её на рассмотрение комитета означало открыто признать, что здесь имеет место фальсификация. Очень возможно, что не менее дюжины человек, соревнуясь друг с другом, разрабатывают свою версию того, что на самом деле сказал Большой Брат. А потом какой-нибудь самый мозговитый во Внутренней Партии выберет ту или иную версию, заново её отредактирует и запустит сложный процесс перекрёстных ссылок, всё как требуется, и после этого выбранная ложь попадёт в постоянную документацию и станет правдой.

Уинстон не знал, чем провинился Уайтерс. Возможно, коррупция или некомпетентность. Возможно, Большой Брат попросту захотел избавиться от слишком популярного подчинённого. Возможно, Уайтерс или кто-то из его окружения были заподозрены в склонности к ереси. А возможно – и это вероятнее всего остального, – что всё это произошло из-за того, что чистки и испарения были необходимой частью в механизме работы правительства. Единственным реальным ключом к решению этой задачи были слова «ссылки неперсон», которые указывали на то, что Уайтерс уже мёртв. Сделать такой однозначный вывод в том случае, когда люди просто арестованы, было нельзя. Иногда их выпускали, и им позволяли оставаться на свободе даже год или два до того, как их казнили. Очень часто кто-нибудь из тех, кого ты давно уже считал умершим, вдруг появлялся на некоем публичном суде, где он под присягой давал показания против сотен других людей, а после этого исчезал, теперь уже навсегда. Уайтерс, однако, уже был НЕПЕРСОН. Он не существовал: он не существовал никогда. Уинстон решил, что будет недостаточно просто изменить направленность речи Большого Брата. Лучше будет сделать так, чтобы она вообще не была связана с изначальной темой.

Он мог превратить эту речь в обычное осуждение предателей и идеологических преступников, но это слишком банально, тогда как изобретенная победа на фронте или некое триумфальное перевыполнение Девятого Трехлетнего Плана могут слишком усложнить документацию. Сейчас был необходим чистый полёт фантазии. Внезапно в его сознании всплыл образ, уже в готовом виде, некоего Товарища Огильви, который недавно героически погиб в битве при соответствующих обстоятельствах. Бывали случаи, когда Большой Брат посвящал свой Дневной Указ памяти какого-нибудь скромного, рядового члена Партии, чью жизнь и смерть он преподносил как пример, которому стоит следовать. Сегодня он почитит память Товарища Огильви. Правда состояла в том, что такого человека, как Товарищ Огильви не существовало, но, благодаря нескольким строчкам печатного текста и парочке подложных фотографий, он в скором времени обретёт существование.

Уинстон задумался на минуту, затем пододвинул к себе речеписчик и начал диктовать в знакомом ему стиле Большого Брата, в стиле одновременно воинственном и педантичном, и который, благодаря трюку с риторическими вопросами и последующему быстрому ответу на них (типа, «Какой урок мы из этого извлекли, товарищи? Тот самый урок, который является одним из фундаментальных принципов Англосоца, это... и т. д. и т. п.), так просто имитировать.

В возрасте трёх лет товарищ Огильви отверг все игрушки кроме барабана, автомата и модели вертолёта. В шесть лет (на год раньше, ему пошли на уступки вопреки правилам) он вступил в Агенты, а в девять уже был командиром отряда. В одиннадцать – он донёс на своего дядю в Полицию Мысли после того, как подслушал разговор, который, как ему показалось, имел криминальную подоплёку. В семнадцать – он организатор в районе Молодёжной Антисексуальной Лиги. В девятнадцать – он разработал проект ручной гранаты, которая была одобрена Министерством Мира и которая, при первом же испытании, убила одним взрывом

тридцать одного заключённого. В двадцать три – он погиб при исполнении. Преследуемый вражескими реактивными самолётами во время перелёта через Индийский Океан с важными депешами он, прикрепив к своему телу автомат для утяжеления, выпрыгнул из вертолёт в глубины вод, вместе с депешей... конец, как отметил Большой Брат, о котором невозможно не размышлять без чувства зависти. Большой Брат добавил несколько штрихов о чистоте помыслов и единомыслии Товарища Огильви. Он был абсолютным трезвенником и не курил, не допускал никаких развлечений, кроме ежедневного часа в спортзале, и принял обет безбрачия, считая, что женитьба и забота о семье несовместимы с ежедневным двадцатичетырёхчасовым выполнением долга. У него не было иных тем для разговора, кроме принципов Англосоца, и иной цели в жизни, кроме победы над Евразийским врагом и преследования шпионов, саботажников, идеологических преступников и предателей в целом.

Уинстон вёл дебаты с самим собой: стоит ли награждать Товарища Огильви Орденом за Особые Заслуги. В конце концов он решил, что не стоит, по той причине, что тогда появится необходимость лишних перекрёстных ссылок, которую этот факт за собой повлечёт.

Еще раз он взглянул на своего соперника в кабинке напротив. Что-то определённо ему подсказывало, что Тиллотсон занят той же работой, что и он. Узнать, чью работу в конце концов примут, – невозможно, однако Уинстон был твёрдо убеждён, что это будет именно его труд. Товарищ Огильви, возникший в его воображении час тому назад, теперь стал фактом истории. Ему пришла в голову любопытная вещь: ты можешь создать мертвого, а живого – не можешь. Товарищ Огильви, который никогда не существовал в настоящем времени, теперь существует в прошлом, и как только факт фальсификации будет забыт, он будет существовать с такой же достоверностью и с такими же свидетельствующими о нём фактами, как Карл Великий или Юлий Цезарь.

## Глава 5

В буфете с низким потолком, глубоко под землёй, очередь на обед продвигалась медленно, но неравномерно. Помещение уже было заполнено людьми, шум стоял оглушительный. От жаровни за прилавком валил пар от тушёного мяса с кислым, отдающим металлом запахом, который всё же не заглушал пары джина «Победа». В дальнем конце комнаты был небольшой бар, практически окно в стене, где можно было купить джин – десять центов за большую порцию.

– Как раз его-то я и ищу, – раздался голос за спиной Уинстона.

Он обернулся. Это был его друг Сайм, который работал в Департаменте Исследований. Возможно, слово «друг» было не совсем подходящим. В наши дни друзей не бывает – бывают товарищи. И всё же есть некоторые товарищи, которые приятнее, чем другие. Сайм был филологом, специалистом по Новоязу. На самом деле он был одним из огромной команды экспертов, которая теперь занималась составлением Одиннадцатого Издания Словаря Новояза. Сайм был крошечным существом, меньше Уинстона, с тёмными волосами и большими глазами навыкате, которые одновременно были и печальными, и насмешливыми и которые, казалось, что-то пристально искали в твоём лице, когда вы разговаривали.

– Хотел спросить, нет ли у тебя каких-нибудь лезвий для бритвы, – сказал Сайм.

– Ни одного, – ответил Уинстон с поспешностью виноватого. – Я всё обыскал. Они просто исчезли.

Все спрашивают насчёт бритвенных лезвий. На самом деле, у него было два, которые он приберёт. Лезвия были дефицитом вот уже несколько месяцев. Всегда были периоды, когда в Партийных магазинах не было тех или иных необходимых вещей. Иногда это были пуговицы, иногда шерсть для штопки, иногда шнурки; в настоящий момент – бритвенные лезвия. Их возможно было достать, если вообще такая возможность существовала, промышляя более или менее тайно на «свободном» рынке.

– Я уже шесть недель пользуюсь старыми лезвиями, – солгав, добавил Уинстон.

Очередь сделала ещё один рывок вперёд. Когда все остановились, он повернулся и опять оказался лицом к лицу с Саймом. Каждый взял жирный металлический поднос из груды в конце прилавка.

– Ты вчера ходил смотреть, как повесили заключённых? – спросил Сайм.

– Я работал, – безразлично ответил Уинстон. – Думаю посмотреть потом в кино.

– Ну это совсем не то, – сказал Сайм.

Его насмешливый взгляд скользнул по лицу Уинстона.

– Знаю я тебя, – сказал он, а глаза, казалось, говорили: Я вижу тебя насквозь. Я очень хорошо понимаю, почему ты не пошёл смотреть, как повесили тех заключённых.

По своим убеждениям Сайм был ярый ортодокс. Он любил поговорить с отвратительным злорадным удовлетворением о воздушных налётах на вражеские деревни, о судах над идеологическими преступниками и их признаниях, о казнях в Министерстве Любви. Разговаривать с ним было возможно только если увести его от этих тем и вовлечь, если удастся, в разговор об особой терминологии Новояза, где он был авторитетен и интересен. Уинстон повернул голову немного вбок, чтобы уйти от испытующего взгляда больших тёмных глаз.

– Хорошо их вешали, – сказал Сайм, предаваясь воспоминаниям. – Думаю, если б они им ноги связали, то это всё бы испортило. Ну а главное, это в конце, когда язык торчит уже изо рта, и синий такой... прямо ярко-синий. Вот что меня особенно привлекает.

– Пожалуйста, следующий! – прокричала пролетарка в белом фартуке с половником.

Уинстон и Сайм подсунули свои подносы. На каждый был быстро брошен порционный обед – металлическая миска с розовато-серой тушёнкой, ломоть хлеба, кубик сыра, кружка кофе «Победа» без молока и одна таблетка сахарина.

– Вон там, под телеэкраном есть столик, – сказал Сайм. – Давай по дороге прихватим джина.

Джин им подали в фарфоровых кружках без ручек. Они пробрались через до отказа заполненное людьми помещение и составили все с подносов на металлический стол, в одном углу которого кто-то уже оставил лужицу от тушёнки – вонючую жидкую массу, своим видом напоминавшую блевотину. Уинстон поднял свою кружку джина, задержался на секунду, чтобы собраться с духом, и проглотил маслянистого вкуса содержимое. Проморгавшись, чтобы прогнать набежавшие на глаза слёзы, он внезапно обнаружил, что голоден. Он начал глотать полными столовыми ложками тушёнку – скользкую жижу с кубиками розоватого пористого вещества, которое, вероятно, имело какое-то отношение к мясу. Пока оба не опустошили миски, ни один из них не разговаривал. За столиком слева от Уинстона, немного позади, кто-то говорил быстро и много, перекрывая общий шум в помещении и отрывисто тараторя, что напоминало кряканье утки.

– Как продвигается Словарь? – спросил Уинстон, повышая голос, чтобы его было слышно при таком шуме.

– Медленно, – ответил Сайм. – Сейчас работаю над прилагательными. Дух захватывает.

При упоминании о Новоязе он сразу же просиял. Оттолкнув в сторону миску и, взяв свой ломоть хлеба одной изящной рукой и кусок сыра – другой, он нагнулся над столом, чтобы можно было говорить не крича.

– Одиннадцатое Издание – определяющее, – сказал он. – Мы придаём языку окончательную форму. Именно такую форму, в которой все будут разговаривать только на нём, и никак иначе. Когда закончим, люди, типа тебя, должны будут заново переучиваться. Ты полагаешь, осмелюсь высказать такую мысль, что главная работа состоит в изобретении новых слов. Однако ничего подобного! Мы производим деструкцию слов – разрушаем огромное количество слов, сотни слов каждый день. Мы сокращаем язык, оставляя лишь скелет. В Одиннадцатом Издании не будет ни единого слова, которое устареет к 2050 году.

Он с жадностью набросился на свой хлеб и, откусив, проглотил пару больших кусков. После этого он продолжил разговор со страстностью педанта. Его худое тёмное лицо стало подвижным, из глаз исчезло насмешливое выражение, и появилось иное, почти мечтательное.

– Как это прекрасно – деструкция слов. Конечно, самые большие потери у глаголов и прилагательных, но есть и сотни существительных, от которых тоже надо избавляться. И это не только синонимы – есть ещё и антонимы. В конце концов, какое оправдание для существования может быть у слова, которое просто означает понятие, противоположное какому-то другому слову? Слово уже в самом себе содержит противоположность. Возьмём, к примеру, «хорошо». Если у нас есть такое слово как «хорошо», то зачем нам слово «плохо»? «Нехорошо» – здесь прекрасно подходит. Даже ещё лучше, так как обозначает строгую противоположность первому слову, чего нельзя сказать о другом слове. Или, опять-таки, если вы ходите использовать более сильный вариант слова «хорошо», какой смысл иметь в наличии целую цепочку неопределённых и бесполезных слов, типа: «отличный», «прекрасный» и все прочие? «Плюсхороший» – включает все значения, или «дубльплюсхороший», если вам захотелось чего-нибудь посильнее. Конечно, мы уже сейчас используем эти формы, но в окончательной версии Новояза ничего другого и не будет. В результате понятие о добре и зле будет выражаться всего шестью словами, а в реальности, – всего одним словом. Чувствуешь, какая красота, Уинстон? Изначально это, конечно, была идея Б.Б., – добавил он, поразмыслив.

При упоминании о Большом Брате на лице Уинстона промелькнуло выражение вялого энтузиазма. Тем не менее Сайм тут же определил, что энтузиазма у Уинстона недостаточно.

– Ты не можешь оценить Новояз по достоинству, Уинстон, – заметил он почти что с грустью. Даже когда ты на нём пишешь, то всё ещё думаешь на Староязе. Я время от времени читаю некоторые вещи, которые ты пишешь в «Таймс». Они хороши – но это переводы. В глубине души ты предпочитаешь оставаться в Староязе, со всей его неопределённостью и разными оттенками в значениях. Ты не схватил красоту деструкции слов. А знаешь ли ты, что Новояз – единственный язык в мире, словарь которого становится меньше и меньше с каждым годом?

Уинстон, конечно же, этого не знал. Он улыбнулся, надеясь, что одобрительно, не решаясь открыть рот. Сайм откусил ещё один кусок хлеба тёмного цвета, быстро его прожевал и продолжил:

– Как это ты не видишь, что у Новояза одна цель: сузить мыслительный процесс? В конце концов мы сделаем мыслепреступление практически невозможным, потому что не будет существовать слов, с помощью которых можно будет выразить его смысл. Любую необходимую концепцию можно будет выразить одним конкретным словом, значение которого будет жёстко определено, а все его побочные значения искоренятся и будут забыты. Уже сейчас, в Одиннадцатом издании, мы недалеко от этой цели. Но процесс будет продолжаться ещё долгое время и после того, как мы с тобой умрём. С каждым годом слов будет всё меньше и меньше, и диапазон сознания будет понемногу сужаться. Конечно же, даже сейчас нет никаких оснований для совершения мыслепреступления. Это всего лишь вопрос самодисциплины и контроля реальности. Но в конце концов даже в этом отпадёт необходимость. Революция победит окончательно, когда язык станет совершенным. Новояз – это Англосоц, а Англосоц – это Новояз, – добавил он с чувством загадочного удовлетворения. – Приходило ли тебе когда-нибудь в голову, Уинстон, что к 2050 году, и это самое позднее, не будет в живых ни одного человека, который смог бы понять наш с тобой теперешний разговор?

– Кроме... – начал было Уинстон неуверенно, но тут же остановился.

У него чуть было не сорвалось с языка «Кроме пролов, но он вовремя себя одёрнул, так как не был до конца уверен, что такое замечание не будет в некотором роде неортодоксальным. Однако Сайм догадался, что Уинстон хотел сказать.

– Пролы – не люди, – беззаботно заметил он. – К 2050, а возможно, и ранее, из реальной жизни исчезнет Старояз. Будет уничтожена вся литература прошлого. Чёсер, Шекспир, Мильтон, Байрон – все они будут существовать только в новом варианте, на Новоязе. Практически, они не будут заменены чем-то иным, они будут превращены в нечто противоположное тому, чем они были всегда. Изменится даже Партийная литература. Даже лозунги. Как может остаться лозунг «свобода – это рабство», если будет упразднено само понятие свободы? Изменится процесс мышления в целом. Фактически, не будет существовать самой мысли, как она существует в нашем современном понимании. Ортодоксальность означает отсутствие мышления, отсутствие необходимости мыслить. Ортодоксальность – это бессознательность.

Недалёк тот день, подумал Уинстон с неожиданной твёрдой уверенностью, когда Сайм испарится. Он слишком умен. Слишком ясно он всё видит и говорит слишком понятно. Партия таких людей не любит. Придёт день, когда он исчезнет. Это написано на его лице.

Уинстон покончил со своим хлебом и сыром. Он развернулся на стуле немного в сторону, чтобы выпить кружку кофе. Слева от него мужчина с пронзительным голосом продолжал нещадно разглагольствовать. Сидевшая спиной к Уинстону молодая женщина, которая, возможно, была секретаршей говорившего, слушала его и, как казалось, с готовностью соглашалась со всем, что тот говорил. Время от времени Уинстон улавливал реплики, типа «Думаю, вы абсолютно правы», «Я с вами так согласна», изрекаемые молодым и довольно глупым женским голосом. Однако второй голос ни на минуту не останавливался, даже когда говорила женщина. Уинстон знал этого человека на вид, но о нём он знал только, что тот занимал важный пост

в Департаменте Беллетристики. Это был человек лет тридцати, с мускулистым горлом и большим подвижным ртом. Он немного закинул голову назад, и свет падал на него под углом, из-за чего очки его отсвечивали, а потому казались Уинстону двумя пустыми дисками без глаз. Это немного пугало ещё и по той причине, что в речевом потоке, изливавшемся изо рта этого человека, невозможно было различить почти ни одного слова. Только один раз Уинстону удалось ухватить фразу: «полная и окончательная ликвидация Голдстейнизма», которая вылетела очень быстро и казалась одним целым, совсем как набранная одной сплошной линией, так как всё остальное было всего лишь шумным кря-кря-кря. Но несмотря на невозможность расслышать то, что говорил этот человек, никаких сомнений в общем содержании его речи не возникло. Он, естественно, порицал Голдстейна и требовал более жёстких мер против мыслепреступников и саботажников; он, естественно, изливал свой гнев на Евразийскую армию с её зверствами; он, естественно, восхвалял Большого Брата или героев Малабарского фронта, – какая разница, что именно. О чём бы ни шла речь, можно было не сомневаться, что каждое слово в ней было чисто ортодоксальным, чисто по Англосоцу.

Пока Уинстон смотрел на это безглазое лицо с быстро двигающейся вверх-вниз челюстью, у него возникло странное ощущение, будто это не человек, а какой-то манекен. То, что он говорит, исходит не от мозга, а из горла. То, что он говорит, состоит из слов, но, по сути, это не речь; это неосознанно издаваемый шум, сходный с кряканьем утки.

Сайм на минуту замолчал, обводя кончиком ложки контуры лужицы на столе. Голос с другого стола продолжал кряканье, которое можно было различить, несмотря на окружающий шум.

– Есть в Новоязе слово, – сказал Сайм, – не уверен, знаешь ли ты его. Это УТКОЯЗ, кряканье, наподобие утино. Это одно из тех интересных слов с двумя противоположными значениями. Применительно к оппоненту – это оскорбление, а применительно к тому, с кем ты согласен, это – похвала.

Несомненно, Сайм испарится, снова подумал Уинстон. Он подумал об этом с налётом грусти, хотя и прекрасно знал, что Сайм его презирает и слегка недолюбливает, и вполне способен донести на него как на мыслепреступника, если у него найдётся для этого повод. Было в Сайме что-то не то, что-то едва уловимое. Сайму чего-то недоставало: осмотрительности, отчуждённости, некоторого рода спасительной тупости. Нельзя было сказать, что он неортодокс. Он верил в принципы Англосоца, он почитал Большого Брата, он радовался победам, он ненавидел еретиков, – и всё это не просто с искренностью, но с неустанным рвением, с новой информацией, к которой рядовые члены Партии доступа не имеют. И всё же слушок о дурной репутации всегда витал над Саймом. Он говорил вещи, которые лучше было бы не говорить, он читал слишком много книг, он был завсегдатаем кафе «Под каштаном», которое часто посещали художники и музыканты. Не было такого закона, даже неписанного, запрещающего часто посещать кафе «Под каштаном», и всё же было в этом кафе нечто, предвещающее дурное. Старые, дискредитировавшие себя лидеры Партии частенько там раньше собирались, пока не попались во время чистки. Говорят, сам Голдстейн частенько там бывал, да уж не один год прошёл с тех пор. Судьбу Сайма нетрудно было предугадать. И всё же факт оставался фактом, что, если бы Сайм хоть на три секунды смог проникнуть в секретные мысли Уинстона, он тут же сдал бы его в Полицию Мысли. Так сделал бы каждый, если уж на то пошло, но Сайм – вернее всего. Одного рвения тут недостаточно. Ортодоксальность должна быть в подсознании.

Сайм поднял глаза:

– Вот идёт Парсонс, – сказал он.

Что-то в его тоне, казалось, добавило к сказанному: «этот непроходимый дурак». Парсонс, пузатый мужчина среднего роста со светлыми волосами, с похожим на лягушачье лицом, который проживал вместе с Уинстоном в жилом комплексе «Победа», и правда, прокладывал себе путь через всё помещение. В свои тридцать пять он уже нагулял жировые складки на шее

и талии, однако движения его оставались по-мальчишески резвыми. У него была внешность маленького мальчика, выросшего до больших размеров. Ощущение это было настолько сильным, что, хоть он и носил предписанный правилами комбинезон, невозможно было не представить его одетым в синие шорты, серую рубашку с красным галстуком Агентов. Воспроизводя в памяти его образ, ты всегда представлял себе ямочки на коленках и закатанные рукава на пухлых руках. Парсонс, и в самом деле, неизменно переодевался в шорты, как только совместный поход или иная физическая активность давала ему возможность оправдать подобное действие. Он поприветствовал их обоих радостным «Приветик, приветик!» и сел за стол, распространив густой запах пота. Всё его розовое лицо было покрыто каплями жидкости. Его способность к потению была уникальной. В Общественном Центре по тому, какой мокрой была ракетка, всегда можно было сказать, что именно ей Парсонс играл в настольный теннис. Сайм извлёк полоску бумаги с длинным столбиком слов и, зажав между пальцами чернильный карандаш, занялся их изучением.

– Только посмотри на него, и в обеденные часы работает, – сказал Парсонс, слегка подтолкнув Уинстона локтем. – Скажи, как увлечён! Что у тебя там такое, старина? Видно, не для моих мозгов. Так? А тебе Смит, старина, я сейчас объясню, почему я тебя преследую. Всё из-за взноса. Ты мне забыл сдать.

– Это какой взнос? – поинтересовался Уинстон и автоматически полез за деньгами.

Около четверти зарплаты каждый должен был отдавать по добровольным подпискам, которые были столь многочисленны, что отследить их было трудно.

– На Неделю Ненависти. Ну ты знаешь, общедомовой фонд. Я казначей в нашем здании. Мы прилагаем совместные усилия – собираемся устроить грандиозное зрелище. Сажу я тебе, если старые здания «Победы» не вынесут больше всех знамён на всей улице, так это не по моей вине. Ты мне обещал два доллара.

Уинстон нашёл и передал Парсонсу две помятые грязные бумажки; этот факт Парсонс записал в маленькую записную книжечку аккуратным почерком малограмотного человека.

– Между прочим, старина, – сказал он, – я тут слышал, что этот мой сорванец запустил в тебя из рогатки. Я ему за это хорошую головомойку устроил. Прямо так и сказал ему, что заберу у него рогатку, если ещё раз так сделает.

– Думаю, он был немного расстроен, что не пошёл посмотреть на казнь, – сказал Уинстон.

– Ну да... так что я хочу сказать – ведь это говорит о правильном настрое. Правда? Ох и озорные они сорванцы, оба! Вот настырные! Только и думают что об Агентах. Ну и о войне, конечно. Знаешь, что моя дочурка устроила в прошлую субботу, когда её отряд был в походе по дороге на Бёркхамстед? Она взяла с собой ещё двух девчонок, они улизнули ото всех и всё время после обеда выслеживали странного мужчину. Шли за ним по следу два часа, прямо через лес, а потом, когда вышли в Амершам, передали его патрульным.

– Зачем они это сделали? – спросил Уинстон, в некотором роде захваченный врасплох.

Парсонс торжествующе ответил:

– Дитё моё удостоверилось, что это вражеский агент – может, к примеру, с парашютом забросили. Да дело-то вот в чём, старина. Как думаешь, что её в первую очередь навело на эту мысль? Она обнаружила, что ботинки на нём – забавные какие-то. Она сказала, что никогда раньше не видала, чтоб кто ещё такие вот ботинки носил. Так что все шансы – что он иностранец. Семилетка, а как соображает. Скажи?

– И что стало с этим человеком? – поинтересовался Уинстон.

– Ну, этого я, конечно, сказать не смогу. Но я, вместе с тем, не удивлюсь, если... – и Парсонс сделал движение, будто прицелился из винтовки, а затем щёлкнул языком, имитируя взрыв.

– Хорошо, – рассеянно, не отрывая глаз от бумажной полосы, заметил Сайм.

– Конечно, мы не можем позволить себе так рисковать, – послушно согласился Уинстон.

– Так что я хотел сказать, ведь война идёт, – продолжил Парсонс.

Как будто в подтверждение этих слов с телеэкрана прямо над их головами выплыл зов трубы. Однако на этот раз это было не провозглашение военных побед, а всего лишь сообщение Министерства Изобилия.

– Товарищи! – выкрикнул молодой энергичный голос. – Внимание, товарищи! У нас для вас прекрасная новость! Мы победили в битве за производство продукции! Завершившееся сейчас возвращение к выпуску всех видов потребительских товаров показывает, что стандартный уровень жизни поднялся как минимум на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Сегодня утром по всей Океании проходят неудержимые спонтанные демонстрации: рабочие выходят из фабрик и контор и идут парадом по улицам со знамёнами, выражая свою благодарность Большому Брату за дарованную им счастливую новую жизнь. Вот некоторые из окончательных цифр. Продукты питания...

Фраза «наша счастливая новая жизнь» повторялась несколько раз. В последнее время это была одна из любимых фраз Министерства Изобилия. Парсонс, чьё внимание приковал звук трубы, сидел, слушая с некой отупелой важностью и назидательной скукой. Он не мог уследить за цифрами, но понимал, что они были причиной, вызвавшей удовлетворение. Он вытащил огромную грязную трубку, которая уже была наполовину забита обгоревшим табаком. При рационе табака в 100 грамм в неделю, нечасто выпадала возможность забить трубку полностью. Уинстон курил сигареты «Победа», которые держал строго горизонтально. Новый рацион начнётся только завтра, а у него осталось всего четыре сигареты. На какой-то момент он отключился от общего шума и стал слушать сообщения, звучавшие с телеэкрана. Оказалось, что состоялась даже демонстрация, где благодарили Большого Брата за то, что рацион шоколада подняли до двадцати граммов в неделю. А ведь только вчера, подумал Уинстон, было объявлено, что рацион должен быть СОКРАЩЁН до двух граммов в неделю. Разве возможно, чтобы они всё это проглотили всего лишь через двадцать четыре часа? Да, проглотили. Парсонс это запросто проглотил, с тупостью животного. Безглазое существо за другим столом проглотило всё фанатично, страстно, с яростным желанием выследить, осудить и испарить любого, кто выскажет предположение, что на прошлой неделе рацион составлял тридцать граммов. И Сайм тоже... в некотором роде более сложным способом, с привлечением двойномыслия, но тоже проглотил. Так что же это, он ОДИН обладает памятью?

Невероятная статистика продолжала изливаться с телеэкрана. По сравнению с прошлым годом производилось больше продуктов питания, больше домов, больше мебели, больше кастрюль, больше топлива, больше пароходов, больше вертолётов, больше книг, больше детей, – больше всего, за исключением болезней, преступлений и умопомешательства. Год за годом и минута за минутой всё и вся со свистом несло вверх. Сейчас Уинстон, совсем как только что делал Сайм, взяв ложку, возился в растёкшейся по столу бледной подливке, делая узор из её длинной полосы. Он горестно раздумывал о физической природе жизни. Всегда ли так было? Всегда ли еда была такого вкуса? Он оглядел буфет. Забитая людьми комната с низким потолком, со стенами запаханными от контакта с невероятным количеством тел; отслужившие своё металлические столы и стулья, поставленные так близко друг к другу, что сидевшие соприкасаются локтями; погнутые ложки, шербатые подносы, грубые белые кружки; все поверхности жирные, грязь в каждой трещине; и кислый, смешанный запах плохого джина, плохого кофе, тушёнки с металлическим привкусом и грязной одежды. Внутри тебя и снаружи, прямо на твоей коже, поднималось что-то вроде протеста, разрасталось ощущение, что тебя обманывают по поводу того, на что ты имеешь право. Правда, у него не сохранилось воспоминаний о чём-либо сильно отличавшемся. Какое бы время он ни старался с точностью припомнить, достаточного количества еды не было никогда, никогда не было носков и нижнего белья без дырок, и мебель всегда была обшарпанной и покосившейся, комнаты – непрогре-

тыми, поезда в метро – забитыми до отказа, дома – разваливавшимися на части, хлеб – тёмного цвета, чай – редкостью, кофе – отвратительного вкуса, сигареты – в недостаточном количестве, – дешёвого и в большом количестве не было ничего за исключением синтетического джина. И хотя понятно, что по мере того, как тело твоё стареет, для него всё становится хуже, но разве же не является признаком того, что это НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ порядок вещей тот факт, что сердце твоё ноет от этого дискомфорта и этой грязи, и от этой нищеты, и от этих бесконечных зим, от этих липких носков, от этих вечно не работающих лифтов, от этой холодной воды, от этого жёсткого мыла, от этих разваливающихся на части сигарет, от этой пищи со странным противным вкусом? Разве чувствовал бы ты, что это невыносимо, если бы не было у тебя некоторого рода наследственной памяти о том, что когда-то всё было по-другому?

Он снова оглядел буфет. Почти все выглядели уродливо; и надень они что-то другое, не эти синие комбинезоны, всё равно они будут выглядеть уродливо. В дальнем конце комнаты маленький, странного вида мужчина, похожий на жука, сидел за столом один и пил кофе. Его маленькие глазки бросали по сторонам подозрительные взгляды. Как это просто, подумал Уинстон, если ты не берёшь себя в расчёт, верить, что физический тип, установленный Партией в качестве идеального: высокие мускулистые молодые люди и грудастые девицы, светловолосые, энергичные, загорелые, беззаботные, – существовал и даже доминировал. На самом же деле, насколько он мог судить, люди на Взлётно-посадочной Полосе Один были маленькими, темноволосыми и некрасивыми. Удивительно, каким образом такой именно жукообразный тип так быстро размножался в министерствах: маленькие коренастые мужчины, рано полнеющие, с короткими ногами, быстрыми суетливыми движениями и толстыми непроницаемыми лицами с маленькими глазками. Именно такой тип, казалось, процветал при партийной власти.

Объявление Министерства Изобилия завершилось ещё одним зовом трубы и уступило место режущей слух музыке. Парсонс, чей неопределившийся энтузиазм был разогрет бомбардировкой из цифр, вынул изо рта трубку.

– Определённо, Министерство Изобилия хорошо поработало в этом году, – сказал он, покачав головой со знанием дела. – Смит, старина, у тебя случаем нет каких-нибудь бритвенных лезвий? Не можешь мне дать?

– Нет ни одного, – сказал Уинстон. – Я сам уже шесть недель одним и тем же пользуюсь.

– Ну да ладно... Просто подумал, что ж не спросить у тебя, старина.

– Жаль, но нет, – сказал Уинстон.

Крякающий голос с соседнего стола, затихший было во время заявления Министерства, снова взялся за своё, ещё громче прежнего. Уинстон внезапно поймал себя на мысли о миссис Парсонс, с её жидкими волосами и пылью, застрявшей в морщинках лица. Через два года эти их детки донесут на неё в Полицию Мысли. Миссис Парсонс испарят. Уинстона испарят. О'Брайена испарят. А Парсонса, наоборот, никогда не испарят. И это безглазое существо с крякающим голосом никогда не испарят. Этих маленьких, жукообразных мужчин, которые безмолвно снуют по лабиринтам коридоров Министерства, и их тоже не испарят никогда. И ту девушку с тёмными волосами из Департамента Беллетристики, тоже не испарят. Ему казалось, что он инстинктивно чувствует, кто выживет, а кто погибнет, хотя определить, что именно необходимо для выживания, было непросто.

В этот момент резкий толчок вывел Уинстона из состояния задумчивости. Девушка за соседним столиком развернулась вполоборота и смотрела на него. Это была та самая, с тёмными волосами. Она смотрела на него сбоку, но с нескрываемым любопытством. Стоило ему поймать её взгляд, как она отвела глаза.

У Уинстона на спине выступил пот. Его охватил приступ безотчётного страха. Страх отступил почти сразу же, однако оставил после себя что-то вроде прилипчивого чувства неловкости. Почему она за ним наблюдала? Почему она его постоянно преследует? К сожалению, он не мог вспомнить, сидела ли она за этим столиком, когда он вошёл, или перешла сюда позже.

Однако, в любом случае, вчера, во время Минуты Ненависти, она села прямо за ним, когда особой нужды в этом не было. Вполне вероятно, что настоящей её целью было слушать его и проверять, громко ли он кричит.

К нему вернулась мысль, посещавшая его ранее: возможно, она на самом деле не состоит в Полиции Мысли, но тогда она шпион-любитель, что представляет собой самую большую опасность. Он не знал, как долго она на него смотрела, но, возможно, минут пять, и не исключено, что он не контролировал черты своего лица должным образом. Ужасно опасно допускать такое; нельзя, чтобы твои мысли блуждали, когда ты в общественном месте или в зоне видимости телеэкрана. Тебя может выдать любая мелочь. Нервный тик, неконтролируемый беспокойный взгляд, привычка что-то бормотать про себя, – всё, что даёт возможность предположить, что ты отклонился от нормы, что у тебя есть, что скрывать. В любом случае, уже само по себе несоответствующее выражение лица (недоверчивый взгляд, когда, например, объявляют о победе) является наказуемым преступлением. В Новоязе даже слово для него было: ЛИЦЕ-ПРЕСТУПЛЕНИЕ, так это называлось.

Девушка снова повернулась к нему спиной. Может, она и не преследует его в конце концов, может, то, что она садилась так близко к нему эти последние два дня, было просто совпадением. Его сигарета потухла, и он аккуратно отложил её на край стола. Ещё покурит её после работы, если табак не высыпется. Вполне вероятно, что человек за соседним столиком – шпион из Полиции Мысли, и вполне вероятно, что Уинстон из-за этого через три дня окажется в подвалах Министерства Любви, но остаток сигареты нельзя выбрасывать. Сайм свернул свою полоску бумаги и убрал в карман. Парсонс снова заговорил:

– Я тебе не рассказывал, старина, – начал он, со смешком отводя в сторону кончик трубки, – не рассказывал тебе про тот раз, когда мои сорванцы подожгли юбку одной торговке на рынке из-за того, что она заворачивала сосиски в плакат с Б.Б.? Подкрались к ней сзади с коробкой спичек и подожгли. Здорово она обгорела, думаю. Во хулиганы! А? Без ножа зарежут! Подготовку высший класс им теперь дают в Агентах. Лучше даже, чем в мои годы. Думаешь, чем их недавно снабдили? Ушными трубками для подслушивания через замочную скважину! Моя девушка принесла одну такую домой как-то вечером. Опробовала её у двери в нашу гостиную и полагает, что расслышала в два раза больше, чем если бы просто приложила ухо к дырке. Конечно, понимаешь, это так, игрушка. А всё ж наводит их на правильную мысль. А?

На этот раз телеэкран издал пронзительный свист. Это был сигнал вернуться к работе. Все трое мужчин вскочили на ноги, чтобы присоединиться к толпе, штурмующей лифты; из сигареты Уинстона высыпались остатки табака.

## Глава 6

Уинстон писал в своём дневнике:

Это произошло три года назад. Произошло это тёмным вечером, в узком переулке недалеко от большой железнодорожной станции. Она стояла у дверного прохода у стены, под уличным фонарём, который едва светил. У неё было молодое лицо, очень густо накрашенное. На самом деле, именно краска меня привлекла, её белизна, как у маски, и ярко-красные губы. Партийные женщины никогда не красят лицо. На улице никого больше не было, и телеэкранов не было. Она сказала: «Два доллара». Я...

С минуту было трудно продолжать. Он закрыл глаза и прижал к ним пальцы, стараясь выжать из них видение, которое всё повторялось и повторялось. У него появилось почти непреодолимое желание во весь голос выкрикнуть целый набор грязных слов. Или удариться головой о стену, перевернуть стол, запустить в окно чернильницей, – сделать что-то с яростью или с грехом, или с болью, чтобы это могло выбить мучительное для него воспоминание.

Твой самый худший враг, подумал он, это – твоя собственная нервная система. В любой момент напряжение внутри тебя способно преобразоваться в какой-либо видимый симптом. Он подумал о мужчине, мимо которого он прошёл на улице несколько недель назад. Обычного вида мужчина, член Партии, в возрасте от тридцати-пяти до сорока, довольно высокий и худой; нёс портфель. Они были на расстоянии нескольких метров друг от друга, когда левая сторона лица этого мужчины внезапно исказилось чем-то вроде спазма. То же самое произошло вновь, когда они поравнялись: всего лишь подёргивание, содрогание, проскочившее, как щелчок камеры, но, по всей видимости, ставшее привычным. Он вспомнил, что пришло ему в голову в этот момент: «Этому бедняге конец». И страшнее всего было то, что подёргивание это происходило, скорее всего, непроизвольно. Ещё одна по-настоящему смертельная опасность, которая страшнее всего, это разговаривать во сне. Тут, насколько он понимал, ты никак не можешь себя контролировать.

Уинстон собрался с духом и продолжал писать:

Я прошёл с ней внутрь, и, через задний двор, на кухню в подвал. Там у стены стояла кровать, и на столе была лампа, повернутая книзу. Она...

Он заскрежетал зубами. Захотелось сплюнуть. Одновременно с мыслью о женщине на кухне он подумал о Кэтрин, своей жене.

Уинстон был женат. То есть, когда-то был женат, хотя вполне может быть, что он всё ещё женат, поскольку до сих пор не было информации, что жена его умерла. Ему показалось, что он опять вдохнул тёплый душный запах подвальной кухни, смешавшиеся запахи клопов и грязного белья, и отвратительных дешёвых духов, который, тем не менее, казался соблазнительным, потому что ни одна партийная женщина никогда духами не пользовалась, да и просто невозможно было представить себе, чтобы она это делала. Только пролетарки пользуются духами. В его сознании этот запах был неразрывно связан с внебрачными отношениями.

Последовав за этой женщиной, он совершил свой первый за два года, или около того, аморальный поступок. Общение с проститутками, конечно же, было запрещено, но это было одно из тех правил, которые у тебя время от времени хватало духу нарушить. Опасно, но не вопрос жизни и смерти. Быть пойманным на месте с проституткой грозило пятью годами в принудительно-трудовом лагере, не более того, если ты не совершил никакого другого нарушения. И это было довольно просто, если только тебя не поймали в момент преступления. Кварталы победнее кишели женщинами, готовыми продаться. Некоторых можно было купить за бутылку джина, который пролетаркам пить не положено. Негласно Партия была даже склонна

поддерживать проституцию как способ дать выход инстинктам, которые в полной мере подавить невозможно. Просто разврат не был делом особой важности, если только он держался в секрете и не приносил радости и, если ты связывался с женщинами низшего, презируемого класса. Непростительным преступлением были беспорядочные связи между членами Партии. И хотя последнее было одним из преступлений, обвинения в которых предъявлялись во время больших чисток и в которых обвиняемые неизменно сознавались, трудно себе представить, что такие вещи происходят в действительности.

Задачей Партии было не только препятствовать возникновению между мужчинами и женщинами прочных связей, которые невозможно было бы контролировать. На самом деле, негласной целью было исключить всякое удовольствие из полового акта. Врагом считалась не столько любовь, сколько чувственность, причём, как в браке, так и вне брака. Все браки между членами Партии должны были быть одобрены назначенным для этой цели комитетом, и (несмотря на то, что принцип отбора никогда не был четко обозначен) в разрешении всегда отказывалось, если пара производила впечатление людей, которых физически влечёт друг к другу. Единственной признанной целью брака было производить на свет детей для служения Партии. На половой акт смотрели как на процедуру довольно омерзительную, похожую на введение клизмы. Это, опять-таки, никогда не излагалось конкретными словами, однако подспудно вдалбливалось в голову каждому члену Партии с самого детства. Существовали даже такие организации, как Антисексуальная Лига, которые выступали за безбрачие для обоих полов. Все дети должны рождаться в результате искусственного оплодотворения (ИСКОПЛОД, так это называлось на Новоязе) и воспитываться в общественных учреждениях. Это, как понимал Уинстон, не было абсолютно серьёзно, но в некотором роде вписывалось в главную идеологическую линию Партии. Партия старалась убить половой инстинкт или, если уж его нельзя было убить, исказить и облить грязью. Он не знал, почему так, но казалось естественным, что так и должно быть. А что касается женщин, так в их среде действия Партии в этом направлении проходили наиболее успешно.

Он подумал о Кэтрин. Должно быть, прошло уже десять, почти одиннадцать лет с тех пор, как они расстались. Удивительно, как редко он о ней думает. Он мог неделями не вспоминать, что когда-то был женат. Они были вместе всего пятнадцать месяцев. Партия не разрешала развод, но относилась с одобрением к раздельному проживанию бездетных пар.

Кэтрин была высокой светловолосой девушкой, очень правильной, с прекрасными устремлениями. У неё было смелое лицо с орлиным профилем, лицо, которое можно было бы назвать благородным и считать таковым, пока не откроешь, что за этим лицом почти ничего не стоит. На раннем этапе своей супружеской жизни он решил для себя (хотя, возможно, так произошло из-за того, что её он знал ближе, чем большинство людей), что у неё самая заурядная, самая пустая и глупая голова среди всех, кого он встречал. В её голове не было ни одной мысли, которая не являлась бы лозунгом; не было ни одной глупости, абсолютно ни одной, которую она не способна была проглотить, если это исходило из уст Партии. «Человечий саунд-трек» – таким прозвищем называл он её про себя. И всё же он смог бы вынести совместную жизнь с ней, если бы не одна вещь... секс.

Как только он до неё дотрагивался, она, казалось, вздрагивала и застывала. Обнимать её было всё равно что обнимать деревянный манекен на шарнирах. И что было особенно странно, даже когда она прижимала его к себе, у него возникало чувство, будто она в то же время изо всех сил его отталкивает. Такое впечатление складывалось из-за жёсткости её мышц. Она обычно лежала с закрытыми глазами, не сопротивляясь и не соучаствуя, а ПОДЧИНЯЯСЬ. Это ставило его в исключительно неловкое положение, а через некоторое время стало приводить в ужас. Но даже тогда он смог бы вынести жизнь с ней, если бы они договорились, что останутся целомудренными. Но как это ни удивительно, именно Кэтрин от этого отказалась. Они, если могут, должны произвести на свет ребёнка, заявила она. Таким образом, представление про-

должалось в том же духе, довольно регулярно раз в неделю, когда была возможность. Она даже имела обыкновение напоминать ему об этом с утра, как о чем-то таком, что необходимо сделать вечером и о чём нельзя забывать. У неё было два названия для этого. Одно – «делать ребёнка», второе – «выполнить долг перед Партией». Да, она употребляла именно эту фразу. Довольно скоро у него развилось чувство настоящего страха перед наступлением назначенного дня. Но, к счастью, ребёнок не появился, и она, в конце концов, согласилась прекратить попытки, и вскоре после этого они расстались.

Уинстон бесшумно вздохнул. Он вновь взял ручку и написал:

Она бросилась на кровать и тут же, безо всякого предварительного действия, самым грубым, самым ужасным способом, какой только можно себе представить, стащила с себя юбку. Я...

Он увидел себя, как он стоит в тусклом свете лампы, с этим забившим ноздри запахом клопов и дешёвых духов, с чувством поражения и негодования в душе, к которому даже в этот момент примешивалась мысль о белом теле Кэтрин, навеки замороженным с помощью гипнотической силы Партии. И почему так должно быть всегда? Почему не может у него быть своей женщины вместо этих грязных тасканий с интервалом в годы? Но настоящий любовный роман был делом немыслимым. Все партийные женщины одинаковы. Целомудрие вросло в них так же глубоко, как преданность Партии. Этими тщательными утренними проветриваниями, спортивными играми и холодной водой, всей этой чушью, которую вбивают им в голову в школе и в Агентах, и в Молодёжной Лиге, этими лекциями, парадами, песнями, лозунгами и воинственной музыкой, в них убили естественное чувство. Разум подсказывал ему, что должны существовать исключения, но сердце отказывалось в это верить. Все они непоколебимы, какими и намеревается их сделать Партия. И больше всего он хотел, хотел даже больше, чем быть любимым, – разрушить эту стену целомудрия, пусть даже один раз за всю свою жизнь. Половой акт, успешно осуществлённый, был восстанием. Желание было мыслепреступлением. Даже пробудить Кэтрин, если б ему это удалось, расценивалось бы как соображение, хоть она и была его женой.

Однако нужно было дописать конец истории. Он написал:

Я повернул лампу. Когда я увидел её при свете...

После темноты слабый свет парафиновой лампы казался очень ярким. В первый раз он увидел эту женщину как следует. Он приблизился к ней на шаг и остановился; его переполняли похоть и ужас. Он с болью осознавал риск, на который пошёл придя сюда. Вполне возможно, что патруль схватит его на выходе – ради такого дела они могут и подождать сейчас снаружи. Если даже он выйдет, не сделав того, за чем сюда пришёл!..

Это должно было быть записано, в этом нужно было признаться. Та женщина была СТАРОЙ – вот что он внезапно увидел при свете лампы. Краска была налеплена у неё на лице таким толстым слоем, что казалось, она может треснуть, как маска из картона. В волосах её начала появляться седина, но самой пугающей деталью было другое: её рот немного приоткрылся, и там не было ничего, кроме чернеющей пустоты. Зубов у неё не было вовсе.

Он написал в спешке, неразборчивым почерком:

Когда я увидел её при свете, оказалось, что она женщина довольно старая, лет пятидесяти, по крайней мере. Но я подошёл к ней и всё проделал.

Он снова прижал пальцы к глазам. Вот он написал это наконец, но ничего не изменилось. Терапия не сработала. Порыв выкрикнуть во весь голос грязные слова был таким же сильным, как и раньше.

## Глава 7

Если есть надежда, – написал Уинстон, – то это – надежда на пролов.

Если была надежда, то это ДОЛЖНА была быть надежда на пролов, потому что только среди них, среди этих копошащихся, презренных масс, только в этих 85 процентах населения Океании могла образоваться сила, способная разрушить Партию. Партию невозможно подорвать изнутри. Её враги, если у неё действительно есть какие-либо враги, не имеют возможности собраться вместе или даже просто открыться друг другу. Если даже легендарное Братство существовало, и вероятность этого не исключена, то трудно было себе представить, что его члены могли бы собираться в группы более двух или трёх человек. Мятежом здесь считался прямой взгляд в глаза, интонация голоса, и больше всего – слово, которое ненароком прошептали тебе на ухо. Но у пролов, если только они каким-то образом осознают свою силу, нет необходимости в конспирации. Им нужно всего лишь подняться и встряхнуться; так делает лошадь, стряхивающая с себя мух. Если они захотят, то смогут разнести Партию в пух и прах завтра же утром. И ведь правда, рано или поздно, это должно же прийти им в голову?

Он вспомнил, как однажды, когда шёл по улице среди толпы, вдруг услышал ужасный крик – сотни женских голосов вырвались впереди, из переулка неподалёку. Это был невероятно грозный крик гнева и отчаяния, низкое, громкое: «У-у-у-ух!» гудя неслось, как удары колокола. Его сердце сжалось. Началось! – подумал он. Бунт! Пролы наконец-то рвутся на свободу! Подойдя к месту действия, он увидел толпу из двух-трёх сотен женщин, столпившихся вокруг ларьков на уличном рынке. Они были с такими трагичными лицами, какие бывают у обречённых пассажиров тонущего судна. Но в эту минуту общее отчаяние перешло в многочисленные личные потасовки. Оказалось, что в одном из ларьков продавали жестяные кастрюли. Кастрюли были убогие и непрочные, но достать любую посуду для приготовления пищи трудно было всегда. И сейчас продажа кастрюль неожиданно закончилась. Добившиеся успеха женщины, под ударами и толчками остальных, старались выбраться из толпы со своими кастрюлями, тогда как десятки других, окружив ларёк, требовательно кричали, обвиняя хозяина ларька в фаворитизме и в том, что у него в запасе ещё остались кастрюли. Раздался новый взрыв брани. Две обрюзгшие женщины, одна из них с растрепавшимися волосами, ухватились за одну и ту же кастрюлю и пытались вырвать её друг у дружки. Какое-то время они тянули каждая на себя, и потом ручка отвалилась. Уинстон с отвращением наблюдал за ними. И всё же, был ведь такой миг, когда в крике слившихся воедино всего лишь сотни глоток прозвучала такая страшная сила! И почему же они не могут вот так же закричать о чём-то действительно важном?

Он написал:

Пока они не осознают своё положение, они никогда не восстанут. Но осознать своё положение они смогут только после того, как восстанут.

Это, рассуждал он, могло бы быть записано в одном из партийных учебников. Партия, конечно же, провозгласила, что освободила пролов от уз. До Революции они нещадно эксплуатировались капиталистами, они голодали и подвергались наказаниям; женщин принуждали работать в угольных шахтах (собственно говоря, женщины всё ещё работают в шахтах), детей с шести лет продавали на работу на фабрики. Но одновременно с этим, следуя Принципам двойномыслия, Партия учила, что пролы по природе своей существа низшего порядка, которых должно держать в подчинении, совсем как животных, с помощью некоторых простых правил. В действительности, о пролах известно было очень немного. До тех пор, пока они продолжали работать и воспроизводить потомство, прочая их деятельность была неважна. Предоставленные сами себе, как скот, свободно разгуливающий по равнинам Аргентины, они придерживались того образа жизни, который был им присущ – что-то вроде наследственного шаблона

поведения. Они рождались и вырастали в трущобах, с двенадцати лет начинали работать, перерастали короткий период расцвета красоты и сексуальных желаний, в двадцать лет вступали в брак, в тридцать – в период среднего возраста, в шестьдесят, в большинстве своём, умирали. Тяжёлый физический труд, забота о доме и детях, мелочные ссоры с соседями, фильмы, футбол, пиво и, больше всего, азартные игры заполняли их сознание до краёв. Держать их под контролем было нетрудно. В их среду внедрялись несколько агентов из Полиции Мысли, и, распространяя там ложные слухи, помечали и ликвидировали тех немногих, которые, на их взгляд, могли представлять опасность. Однако попытки ознакомить их с идеологией Партии никогда не делалось. Было нежелательно, чтобы у пролов появился сильный интерес к политике. Прimitивный патриотизм, к которому можно было взывать, когда необходимо заставить их принять увеличение рабочего дня и сокращение рационов, – вот всё, что от них требовалось. И даже когда они были недовольны, что иногда случалось, их недовольство ни во что не выливалось, ибо, не имея общего представления о главном, они могли сфокусироваться лишь на конкретных жалобах. Больше зло неизменно ускользало из их поля зрения. У большого количества пролов даже телеэкрана дома не было. Даже гражданская полиция редко вмешивалась в их дела. Преступность в Лондоне существовала в огромном размере, это был свой отдельный мир бандитов, проституток, торговцев наркотиками, рэкетиров разных мастей, но коль скоро дело касалось самих пролов, то этому не придавали большого значения. За беспорядочные половые связи не наказывали, разводы разрешались. Что и говорить, даже религиозные обряды разрешили бы, если бы пролы проявили какие-нибудь признаки в их необходимости или желательности. Пролы были вне подозрений. Как гласил лозунг Партии: «Пролы и животные – свободны».

Уинстон потянулся и почесал варикозную язву. Она снова зачесалась. Невозможность узнать, какая жизнь в действительности была до Революции, – вот к чему ты возвращаешься вновь и вновь. Он вытащил из ящика экземпляр детского учебника по истории, который позаимствовал у миссис Парсонс, и начал переписывать абзац из него в свой дневник:

«В давние времена (написано было в учебнике), до свершения великой Революции, Лондон не был таким прекрасным городом, каким мы знаем его сегодня. Это было мрачное, грязное, убогое место, где не у каждого было еды вдоволь и где сотни и тысячи бедных людей не имели обуви на ногах и крыши над головой. Дети, не старше вас, должны были работать по двенадцать часов в день на жестоких хозяев, которые, если дети медленно работали, пороли их кнутами и не давали им ничего, кроме чёрствых хлебных корок и воды. И среди всей этой ужасающей бедности было немного великолепных огромных домов, в которых жили богатые люди, которые держали целых тридцать человек прислуги, чтобы те всё для них делали. Этих богатых людей называли капиталистами. Капиталисты были толстые и уродливые, со злыми лицами; одного из них вы можете рассмотреть на картинке на следующей странице. Как вы видите, он одет в длинную чёрную куртку, которая называлась сюртуком, а на голове у него странная блестящая шляпа в форме трубы для дымохода, которая называлась цилиндром. Такова была униформа капиталистов, и никому другому не позволяли её носить. Капиталисты владели всем в мире, и все остальные были их рабами. Они владели всей землёй, всеми домами, всеми фабриками и заводами и всеми деньгами. Если кто-то им не подчинялся, его могли бросить в тюрьму или лишить работы и уморить голодом. Когда какой-нибудь обычный человек разговаривал с капиталистом, он должен был заискивать перед ним, униженно кланяться, снимать шляпу и, обращаясь к нему, говорить «Сэр». Главный капиталист назывался Королём, и...».

Но всё, что было в списке дальше, он знал. Там, как правило, упоминаются епископы в их одеяниях с широкими рукавами, судьи с их горностаевыми мантиями, позорные столбы, колодки, однообразный механический труд, кошка-девятихвостка <sup>1</sup>, банкет у лорд-мэра Лондона <sup>2</sup>, практика целования туфель у Папы. Существовало также JUS PRIMAE NOCTIS <sup>3</sup>, но об этом в учебнике для детей, вероятно, не упоминалось. Это тот самый закон, когда каждый капиталист имел право спать с любой работницей его фабрики.

Как мог ты сказать, сколько в этом лжи? МОГЛО быть правдой, что средний человек сейчас лучше обеспечен, чем до Революции. Единственным свидетельством противоположного был немой протест, засевавший у тебя внутри, инстинктивное ощущение, что условия, в которых ты живешь, – невыносимые, и что было и другое время, когда они наверняка были другими. Ему вдруг пришло в голову, что настоящей характерной чертой современной жизни является не её жестокость и незащищённость, а просто пустота, тусклость, апатия. Жизнь, если посмотреть вокруг, ни капли не похожа не только на ту ложь, которая льётся с телеэкранов, но даже на те идеалы, которых стремится достичь Партия. Даже для члена Партии большие периоды жизни проходят нейтрально, в стороне от политики; даже для него жизнь – это утомительные часы тоскливой работы, схватка за свободное место в метро, штопанье изношенных носков, выклянчивание таблетки сахарина, сохранение сигаретного окурка. Идеал, установленный Партией, представлял собой нечто огромное, ужасное и сверкающее – мир из стали и бетона, мир чудовищных машин и устрашающего оружия, – нацию воинов и фанатиков, маршем шагающих вперёд, к совершенному единству, с одинаковыми мыслями в головах, выкрикивающих одни и те же лозунги, работающих без перерыва, сражающихся, торжествующих, преследующих – триста миллионов людей – и все на одно лицо. Реальность же представляла собой разложение, грязные города, где недоедающие люди в дырявой обуви таскаются по заламанным домам девятнадцатого века постройки, с застоявшимся запахом капусты и плохих туалетов. Ему показалось, что весь Лондон предстал перед его глазами: город огромный и разваливающийся, с миллионом мусорных бачков; и в него вписалась картина с миссис Парсонс, женщиной с исчерченным морщинами лицом и жидкими волосами, беспомощно суетящейся вокруг засорившейся сточной трубы.

Он согнулся и почесал лодыжку. День и ночь телеэкраны забивают тебе в уши статистику, демонстрируя, что у людей сегодня больше еды, больше одежды, что дома их теперь лучше, что развлечения – лучше; что они живут дольше, работают меньше часов; стали выше ростом, более здоровыми, сильными и счастливыми, чем люди, жившие пятьдесят лет назад. И ни одно слово из всего этого не может быть доказано или опровергнуто. Например, Партия заявила, что сегодня грамотность среди взрослых пролов – 40 процентов. До революции, как утверждалось, количество грамотных взрослых составляло только 15 процентов. Партия заявила, что детская смертность сейчас составляет только 160 на тысячу, тогда как до революции она составляла 300... и всё в таком роде. Это походило на одно уравнение с двумя неизвестными. Вполне могло оказаться, что буквально каждое слово в исторических книгах было чистой фантазией – даже те вещи, которые принимались безоговорочно. Он-то про себя понимал, что могло никогда и не быть такого закона, как JUS PRIMAE NOCTIS, или такого живого существа, как капиталист, или такого предмета одежды, как цилиндр.

<sup>1</sup> Кошка-девятихвостка (англ. *Cat o'nine tails*) – плеть с девятью и более хвостами, обычно с твёрдыми наконечниками, специальными узлами либо крючьями на концах, наносящая рваные раны. Кошка была изобретена в Англии. Также применялась как орудие пытки. Поскольку порка была санкционирована в Британии в 1689 году, она на протяжении почти двухсот лет считалась лучшим способом поддержания дисциплины.

<sup>2</sup> Банкет у лорд-мэра Лондона – ежегодный торжественный обед в Гилхолле после избрания нового лорд-мэра лондонского Сити.

<sup>3</sup> JUS PRIMAE NOCTIS – Право первой ночи (лат.)

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.